

Антон Павлович Чехов

О том, о сём



АНТОН ЧЕХОВ

О том, о сём

«Public Domain»

2015

Чехов А. П.

О том, о сём / А. П. Чехов — «Public Domain», 2015

В сборник вошли повести, остроумные рассказы и юморески Чехова – произведения забавные и трагические, порой прозрачно поэтичные, порой саркастично-едкие.

Содержание

Канитель	5
Жизнь прекрасна!	7
На гулянье в Сокольниках	8
Женщина с точки зрения пьяницы	10
Драма на охоте	11
Драма на охоте	14
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Антон Павлович Чехов

О том, о сём...: сборник

Канитель

На клиросе стоит дьячок Отлукавин и держит между вытянутыми жирными пальцами огрызенное гусиное перо. Маленький лоб его собрался в морщины, на носу играют пятна всех цветов, начиная от розового и кончая темно-синим. Перед ним на рыжем переплете Цветной триоди лежат две бумажки. На одной из них написано «о здравии», на другой – «за упокой», и под обоими заглавиями по ряду имен... Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом и с котомкой на спине. Она задумалась.

– Дальше кого? – спрашивает дьячок, лениво почесывая за ухом. – Скорей, убогая, думай, а то мне некогда. Сейчас часы читать стану.

– Сейчас, батюшка... Ну, пиши... О здравии рабов божиих: Андрея и Дарьи со чады... Митрия, опять Андрея, Антипа, Марьи...

– Постой, не шибко... Не за зайцем скачешь, успеешь.

– Написал Марию? Ну, теперя Кирилла, Гордея, младенца новопреставленного Герасима, Пантелея... Записал усопшего Пантелея?

– Постой... Пантелей помер?

– Помер... – вздыхает старуха.

– Так как же ты велишь о здравии записывать? – сердится дьячок, зачеркивая Пантелея и перенося его на другую бумажку. – Вот тоже еще... Ты говори толком, а не путай. Кого еще за упокой?

– За упокой? Сейчас... постой... Ну, пиши... Ивана, Авдотью, еще Дарью, Егора... Запиши... воина Захара... Как пошел на службу в четвертом годе, так с той поры и не слышать...

– Стало быть, он помер?

– А кто ж его знает? Может, помер, а может, и жив... Ты пиши...

– Куда же я его запишу? Ежели, скажем, помер, то за упокой, коли жив, то о здравии... Пойми вот вашего брата!

– Гм!... Ты, родименький, его на обе записочки запиши, а там видно будет. Да ему все равно, как его ни записывай: непутящий человек... пропащий... Записал? Таперя за упокой Марка, Левонтия, Арина... ну, и Кузьму с Анной... болящую Федосью...

– Болящую-то Федосью за упокой? Тю!

– Это меня-то за упокой? Ошалел, что ли?

– Тьфу! Ты, кочерыжка, меня запутала! Не померла еще, так и говори, что не померла, а нечего в за упокой лезть! Путаешь тут! Изволь вот теперь Федосью херить и в другое место писать... всю бумагу изгадил! Ну, слушай, я тебе прочту... О здравии Андрея, Дарьи со чады, паки Андрея, Антипия, Марии, Кирилла, новопреставленного младенца Гер... Постой, как же сюда этот Герасим попал? Новопреставленный, и вдруг – о здравии! Нет, запутала ты меня, убогая! Бог с тобой, совсем запутала!

Дьячок крутит головой, зачеркивает Герасима и переносит его в заупокойный отдел.

– Слушай! О здравии Марии, Кирилла, воина Захарии... Кого еще?

– Авдотью записал?

– Авдотью? Гм... Авдотью... Евдокию... – пересматривает дьячок обе бумажки. – Помню, записывал ее, а теперя шут ее знает... никак не найдешь... Вот она! За упокой записана!

– Авдотью-то за упокой? – удивляется старуха. – Году еще нет, как замуж вышла, а ты на нее уж смерть накликаешь!.. Сам вот, сердешный, путаешь, а на меня злобишься.

Ты с молитвой пиши, а коли будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. Это тебя бес хороводит да путает...

– Постой, не мешай...

Дьячок хмурится и, подумав, медленно зачеркивает на заупокойном листе Авдотью. Перо на букве «д» взвизгивает и дает большую кляксу. Дьячок конфузится и чешет затылок.

– Авдотью, стало быть, долой отсюда... – бормочет он смущенно, – а записать ее туда... Так? Постой... Ежели ее туда, то будет о здравии, ежели же сюда, то за упокой... Со всем запутала баба! И этот еще воин Захария встрял сюда... Шут его принес... Ничего не разберу! Надо сызнава...

Дьячок лезет в шкафчик и достает оттуда осьмушку чистой бумаги.

– Выкинь Захарию, коли так... – говорит старуха. – Уж бог с ним, выкинь...

– Молчи!

Дьячок макает медленно перо и списывает с обеих бумажек имена на новый листок.

– Я их всех гуртом запишу, – говорит он, – а ты неси к отцу дьякону... Пуцай дьякон разберет, кто здесь живой, кто мертвый; он в семинарии обучался, а я этих самых делов... хоть убей, ничего не понимаю.

Старуха берет бумажку, подает дьячку старинные полторы копейки и семенит к алтарю.

Жизнь прекрасна! (Покушающим на самоубийство)

Жизнь пренеприятная штука, но сделать ее прекрасной очень нетрудно. Для этого недостаточно выиграть 200 000, получить Белого Орла, жениться на хорошенькой, прослыть благонамеренным – все эти блага тленны и поддаются привычке. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться сознанию, что «могло бы быть и хуже». А это нетрудно:

Когда у тебя в кармане загораются спички, то радуйся и благодари небо, что у тебя в кармане не пороховой погреб.

Когда к тебе на дачу приезжают бедные родственники, то не бледней, а торжествуя восклицай: «Хорошо, что это не городовые!»

Когда в твой палец попадает заноза, радуйся: «Хорошо, что не в глаз!»

Если твоя жена или свояченица играет гаммы, то не выходи из себя, а не находи себе места от радости, что ты слушаешь игру, а не вой шакалов или кошачий концерт.

Радуйся, что ты не лошадь конножелезки, не коховская «запятая», не трихина, не свинья, не осел, не медведь, которого водят цыгане, не клоп... Радуйся, что ты не хромой, не слепой, не глухой, не немой, не холерный... Радуйся, что в данную минуту ты не сидишь на скамье подсудимых, не видишь перед собой кредитора и не беседуешь о гонораре с Турбой.

Если ты живешь в не столь отдаленных местах, то разве нельзя быть счастливым от мысли, что тебя не угораздило попасть в столь отдаленные?

Если у тебя болит один зуб, то ликуй, что у тебя болят не все зубы.

Радуйся, что ты имеешь возможность не читать «Гражданина», не сидеть на ассенизационной бочке, не быть женатым сразу на трех...

Когда ведут тебя в участок, то прыгай от восторга, что тебя ведут не в геенну огненную.

Если тебя секут березой, то дрыгай ногами и восклицай: «Как я счастлив, что меня секут не крапивой!»

Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству.

И так далее... Последуй, человеке, моему совету, и жизнь твоя будет состоять из сплошного ликования.

На гулянье в Сокольниках

День 1 мая клонился к вечеру. Шепот сокольничьих сосен и пение птиц заглушены шумом экипажей, говором и музыкой. Гулянье в разгаре. За одним из чайных столов Старого Гулянья сидит парочка: мужчина в лоснящемся цилиндре и дама в голубой шляпке. Перед ними на столе кипящий самовар, пустая водочная бутылка, чашки, рюмки, порезанная колбаса, апельсиновые корки и проч. Мужчина пьян жестоко... Он сосредоточенно глядит на апельсиновую корку и бессмысленно улыбается.

– Натрескался, идол! – бормочет дама сердито, конфузливо озираясь. – Ты бы, прежде чем пить, рассудил бы, бесстыжие твои глаза. Мало того, что людям противно на тебя глядеть, ты и себе самому всякое удовольствие испортил. Пьешь, например, чай, а какой у тебя теперь вкус? Для тебя теперь что мармелад, что колбаса – все равно... А я-то старалась, брала чего бы получше...

Бессмысленная улыбка на лице мужчины сменяется выражением крайней скорби.

– М-маша, куда это людей ведут?

– Никуда их не ведут, а они сами гуляют.

– А зачем городской идет?

– Городской? Для порядка, а может быть, и гуляет... Эка, до чего допился, уж ничего и не смыслит!

– Я... я ничего... Я художник... жанрист...

– Молчи! Натрескался, ну и молчи... Ты, чем бормотать, рассуди лучше... Кругом деревья зеленые, травка, птички на разные голоса... А ты без внимания, словно тебя и нет тут... Глядишь и как в тумане... Художники норовят теперь природу подмечать, а ты – как зюзя...

– Природа... – говорит мужчина и крутит головой. – Пр-рирода... Птички поют... крокодилы ползают... львы... тигры...

– Мели, мели... Все люди как люди... под ручку гуляют, музыку слушают, один ты в безобразии. И когда это ты успел? Как это я недоглядела?

– М-маша, – бормочет цилиндр, бледнея. – Скорей...

– Чего тебе?

– Домой желаю... Скорей...

– погоди... Потемнеет, тогда и пойдем, а теперь совестно идти: качаться будешь... Люди смеяться станут... Сиди и жди...

– Н-не могу! Я... я домой...

Мужчина быстро поднимается и, качаясь, выходит из-за стола. Публика, сидящая на других столах, начинает посмеиваться... Дама конфузится...

– Убей меня бог, ежели еще хоть раз с тобой пойду, – бормочет она, поддерживая мужчину. – Один срам только... Добро бы законный был, а то так... с ветру...

– М-маша, где мы?

– Молчи! Постыдился бы, все люди пальцами показывают. Тебе-то, как с гуся вода, а мне-то каково? Добро бы законный был, а то... так... Даст рубль и месяц попрекает: «Я тебя кормлю! Я тебя содержу!» Очень мне нужно! Да плевать я хотела на твои деньги! Возьму и уйду к Павлу Иванычу...

– М-маша... домой... Извозчика найми...

– Ну, иди... Ступай по аллее прямо, а я пойду в сторонке... Мне с тобой совестно идти... Иди прямо!

Дама ставит своего «незаконного» лицом к выходу и дает ему легкий толчок в спину. Мужчина подается вперед и, покачиваясь, толкаясь о проходящих и скамьи, спешит вперед... Дама идет позади и следит за его движениями. Она сконфужена и встревожена.

– Палочек, сударь, не желаете ли? – обращается к шагающему мужчине человек с вязанкой палок и тростей. – Самые лучшие... перцовые... бамбук-с...

Мужчина глупо глядит на продавца палок, потом поворачивает назад и мчится в противоположную сторону. На лице у него выражение ужаса.

– Куда это тебя нелегкая несет? – останавливает его дама, хватая за рукав. – Ну, куда?

– Где Маша?... М-маша ушла...

– А я-то кто?

Дама берет под руку мужчину и ведет его к выходу. Ей совестно.

– Убей меня бог, ежели хоть еще раз с тобой пойду... – бормочет она, вся красная от стыда. – Последний раз терплю такой срам... Накажи меня бог... Завтра же уйду к Павлу Иванычу!

Дама робко поднимает глаза на публику, в ожидании увидеть на лицах насмешливые улыбки. Но видит она одни только пьяные лица. Все качаются и клюют носами. И ей становится легче.

Женщина с точки зрения пьяницы

Женщина есть опьяняющий продукт, который до сих пор еще не догадались обложить акцизным сбором. На случай, если когда-нибудь догадаются, предлагаю смету крепости означенного продукта в различные периоды его существования, беря в основу не количество градусов, а сравнение его с более или менее известными напитками:

Женщина до 16 лет – дистиллированная вода.

16 лет – ланинская фруктовая.

От 17 до 20 – шабли и шато д'икем.

От 20 до 23 – токайское.

От 23 до 26 – шампанское.

26 и 27 лет – мадера и херес.

28 – коньяк с лимоном.

29-30-31-32 – ликеры

От 32 до 35 – пиво завода «Вена».

От 35 до 40 – квас.

От 40 до 100 лет – сивушное масло.

Если же единицей меры взять не возраст, а семейное положение, то:

Жена – зельтерская вода.

Теща – огуречный рассол.

Прелестная незнакомка – рюмка водки перед завтраком.

Вдовушка от 23 до 28 лет – мускат-люнель и марсала.

Вдовушка от 28 и далее – портер.

Старая дева – лимон без коньяка.

Невеста – розовая вода.

Тетенька – уксус.

Все женщины, взятые вместе – подкисленное, подсахаренное, подкрашенное суриком и сильно разбавленное «кахетинское» братьев Елисеевых.

Драма на охоте (Истинное происшествие)

В один из апрельских полудней 1880 года в мой кабинет вошел сторож Андрей и таинственно доложил мне, что в редакцию явился какой-то господин и убедительно просит свидания с редактором.

– Должно быть, чиновник-с, – добавил Андрей, – с кокардой...

– Попроси его прийти в другое время, – сказал я. – Сегодня я занят. Скажи, что редактор принимает только по субботам.

– Он и третьего дня приходил, вас спрашивал. Говорит, что дело большое. Просит и чуть не плачет. В субботу, говорит, ему несвободно... Прикажете принять?

Я вздохнул, положил перо и принялся ждать господина с кокардой. Начинаящие писатели и вообще люди, не посвященные в редакционные тайны, приходящие при слове «редакция» в священный трепет, заставляют ждать себя немалое время. Они, после редакторского «проси», долго кашляют, долго сморкаются, медленно отворяют дверь, еще медленнее входят и этим отнимают немало времени. Господин же с кокардой не заставил ждать себя. Не успела за Андреем затвориться дверь, как я увидел в своем кабинете высокого широкоплечего мужчину, державшего в одной руке бумажный сверток, а в другой – фуражку с кокардой.

Человек, так добивавшийся свидания со мной, играет в моей повести очень видную роль. Необходимо описать его наружность.

Он, как я уже сказал, высок, широкоплеч и плотен, как хорошая рабочая лошадь. Все его тело дышит здоровьем и силой. Лицо розовое, руки велики, грудь широкая, мускулистая, волосы густы, как у здорового мальчика. Ему под сорок. Одет он со вкусом и по последней моде в новенький, недавно сшитый триковый костюм.

На груди большая золотая цепь с брелоками, на мизинце мелькает крошечными яркими звездочками бриллиантовый перстень. Но, что главнее всего и что так немаловажно для всякого мало-мальски порядочного героя романа или повести, – он чрезвычайно красив. Я не женщина и не художник. Мало я смыслю в мужской красоте, но господин с кокардой своею наружностью произвел на меня впечатление. Его большое мускулистое лицо осталось навсегда в моей памяти. На этом лице вы увидите настоящий греческий нос с горбинкой, тонкие губы и хорошие голубые глаза, в которых светятся доброта и еще что-то, чему трудно подобрать подходящее название. Это «что-то» можно подметить в глазах маленьких животных, когда они тоскуют или когда им больно. Что-то умоляющее, детское, безропотно терпящее... У хитрых и очень умных людей не бывает таких глаз.

От всего лица так и веет простотой, широкой, простецкой натурой, правдой... Если не ложь, что лицо есть зеркало души, то в первый день свидания с господином с кокардой я мог бы дать честное слово, что он не умеет лгать. Я мог бы даже держать пари.

Проиграл бы я пари или нет – читатель увидит далее.

Каштановые волосы и борода густы и мягки, как шелк. Говорят, что мягкие волосы служат признаком мягкой, нежной, «шелковой» души... Преступники и злые, упрямые характеры имеют, в большинстве случаев, жесткие волосы. Правда это или нет – читатель опять-таки увидит далее... Ни выражение лица, ни борода – ничто так не мягко и не нежно в господине с кокардой, как движения его большого, тяжелого тела. В этих движениях сквозят воспитанность, легкость, грация и даже – простите за выражение – некоторая женственность. Не много нужно усилий моему герою, чтобы согнуть подкову или сплющить в кулаке коробку из-под сардинок, а между тем ни одно его движение не выдает в нем физически сильного. За дверную ручку или за шляпу он берется, как за бабочку: нежно, осторожно, слегка касаясь пальцами.

Шаги его бесшумны, рукопожатия слабы. Глядя на него, забываешь, что он могуч, как Голиаф, что одной рукой может поднять он то, чего не поднять пяти редакционным Андреем. Глядя на его легкие движения, не верится, что он силен и тяжел. Спенсер мог бы назвать его образцом грации.

Войдя ко мне в кабинет, он сконфузился. Его нежную, чуткую натуру, вероятно, шокировал мой нахмуренный, недовольный вид.

– Извините, ради бога! – начал он мягким, сочным баритоном. – Я врываюсь к вам не в урочное время и заставляю вас делать для меня исключение. Вы так заняты! Но видите ли, в чем дело, г. редактор: я завтра уезжаю в Одессу по одному очень важному делу... Имей я возможность отложить эту поездку до субботы, то, верьте, я не просил бы вас делать для меня исключение. Я преклоняюсь перед правилами, потому что люблю порядок...

«Как, однако, он много говорит!» – подумал я, протягивая руку к перу и тем давая знать, что мне некогда. (Уж больно надоели мне тогда посетители!)

– Я отниму у вас одну только минуту! – продолжал мой герой извиняющимся голосом. – Но прежде всего позволь те представиться... Кандидат прав Иван Петрович Камышев, бывший судебный следователь... К пишущим людям не имею чести принадлежать, но, тем не менее, явился к вам с чисто писательскими целями. Перед вами стоит же лающий попасть в начинающие, несмотря на свои под со рок. Но лучше поздно, чем никогда.

– Очень рад... Чем могу быть полезен? Желаящий попасть в начинающие сел и продолжал, глядя на пол своими умоляющими глазами:

– Я притащил к вам маленькую повесть, которую мне хотелось бы напечатать в вашей газете. Я вам откровенно скажу, г. редактор: написал я свою повесть не для авторской славы и не для звуков сладких... Для этих хороших вещей я уже постарел. Вступаю же на путь авторский просто из меркантильных побуждений... Заработать хочется... Я теперь решительно никаких не имею занятий. Был, знаете ли, судебным следователем в С-м уезде, прослужил пять с лишком лет, но ни капитала не нажил, ни невинности не сохранил...

Камышев вскинул на меня своими добрыми глазами и тихо засмеялся.

– Надоедая служба... Служил-служил, махнул рукой и бросил. Занятий у меня теперь нет, есть почти нечего... И если вы, минуя достоинства, напечатаете мою повесть, то сделаете мне больше, чем одолжение... Вы поможете мне... Газета не богадельня, не странноприимный дом... Я это знаю, но... уж вы будьте так добры...

«Лжешь!» – подумал я.

Брелоки и перстень на мизинце плохо вязались с письмом ради куска хлеба, да и по лицу Камышева пробежала чуть заметная, уловимая опытным глазом тучка, которую можно видеть на лицах только редко лгущих людей.

– Какой сюжет вашей повести? – спросил я.

– Сюжет... Как бы вам сказать? Сюжет не новый... Любовь, убийство... Да вы прочтете, увидите... «Из записок судебного следователя»...

Я, вероятно, поморщился, потому что Камышев сконфуженно замигал глазами, встрепнулся и проговорил быстро:

– Повесть моя написана по шаблону бывших судебных следователей, но... в ней вы найдете быть, правду... Все, что в ней изображено, все от крышки до крышки происходило на моих глазах... Я был и очевидцем и даже действующим лицом.

– Дело не в правде... Не нужно непременно видеть, чтоб описать... Это не важно. Дело в том, что наша бедная публика давно уже набила оскомину на Габорио и Шкляревском. Ей надоели все эти таинственные убийства, хитросплетения сыщиков и необыкновенная находчивость допрашивающих следователей. Публика, конечно, разная бывает, но я говорю о той публике, которая читает мою газету. Как называется ваша повесть?

– «Драма на охоте».

– Гм... Несерьезно, знаете ли... Да и, откровенно говоря, у меня накопилась такая масса материала, что решительно нет возможности принимать новые вещи, даже при несомненных их достоинствах...

– А уж мою-то вещь примите, пожалуйста... Вы говорите, что несерьезно, но... трудно ведь назвать вещь, не издавши ее... И неужели вы не можете допустить, что и судебные следователи могут писать серьезно?

Все это проговорил Камышев заикаясь, вертя между пальцами карандаш и глядя себе в ноги. Кончил он тем, что сильно сконфузился и замигал глазами. Мне стало жаль его.

– Хорошо, оставьте, – сказал я. – Только не обещаю вам, что ваша повесть будет прочтена в скором времени. Вам придется подождать...

– Долго?

– Не знаю... Зайдите месяца... этак через два, через три...

– Долгонько... Но не смею настаивать... Пусть будет по-вашему...

Камышев поднялся и взялся за фуражку.

– Спасибо за аудиенцию, – сказал он. – Пойду теперь домой и буду питать себя надеждами. Три месяца надежд! Но, однако, я вам надоел. Честь имею кланяться!

– Позвольте, одно только слово, – сказал я, перелистывая его толстую, исписанную мелким почерком тетрадь. – Вы пишете здесь от первого лица... Вы, стало быть, под судебным следователем разумеете здесь себя?

– Да, но под другой фамилией. Роль моя в этой повести несколько скандальна... Неловко же под своей фамилией... Так через три месяца?

– Да, пожалуй, не ранее...

– Будьте здоровехоньки!

Бывший судебный следователь галантно раскланялся, осторожно взялся за дверную ручку и исчез, оставив на моем столе свое произведение. Я взял тетрадь и спрятал ее в стол.

Повесть красавца Камышева покоилась в моем столе два месяца. Однажды, уезжая из редакции на дачу, я вспомнил о ней и взял ее с собою.

Сидя в вагоне, я открыл тетрадь и начал читать из середины. Середина заинтересовала меня. В тот же день вечером я, несмотря на отсутствие досуга, прочел всю повесть от начала до слова «Конец», написанного размашистым почерком. Ночью я еще раз прочел эту повесть, а на заре ходил по террасе из угла в угол и тер себе виски, словно хотел вытереть из головы новую, внезапно набравшую, мучительную мысль... А мысль была действительно мучительная, невыносимо острая... Мне казалось, что я, не судебный следователь и еще того менее не присяжный психолог, открыл страшную тайну одного человека, тайну, до которой мне не было никакого дела... Я ходил по террасе и убеждал себя не верить своему открытию...

Повесть Камышева не попала в мою газету по причинам, изложенным в конце моей беседы с читателем. С читателем я встречаюсь еще раз. Теперь же, надолго расставаясь с ним, я предлагаю на его прочтение повесть Камышева.

Эта повесть не выделяется из ряда вон. В ней много длиннот, немало шероховатостей... Автор питает слабость к эффектам и сильным фразам... Видно, что он пишет первый раз в жизни, рукой непривычной, невоспитанной... Но все-таки повесть его читается легко. Фабула есть, смысл тоже, и, что важнее всего, она оригинальна, очень характерна и то, что называется, *sui generis*¹. Есть в ней и кое-какие литературные достоинства. Прочесть ее стоит... Вот она:

¹ В своем роде (*лат.*).

Драма на охоте (Из записок судебного следователя)

Глава I

– Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы! Дайте же мне наконец сахару!

Этот крик разбудил меня. Я потянулся и почувствовал во всех своих членах тяжесть, недомогание... Можно отлежать себе руку и ногу, но на этот раз мне казалось, что я отлежал себе все тело от головы до пяток. Не укрепляющим, а расслабляющим образом действует послеобеденный сон в душной, сушащей атмосфере, под жужжание мух и комаров. Разбитый и облитый потом, я поднялся и пошел к окну. Был шестой час вечера. Солнце стояло еще высоко и жгло с таким же усердием, как и три часа тому назад. До захода и прохлады оставалось еще много времени.

– Муж убил свою жену!

– Полно тебе врать, Иван Демьяныч! – сказал я, давая легкий щелчок носу Ивана Демьяныча. – Мужья убивают жен только в романах да под тропиками, где кипят африканские страсти, голубчик. С нас же довольно и таких ужасов, как кражи со взломом или прожительство по чужому виду.

– Кражи со взломом... – процедил сквозь свой крючковатый нос Иван Демьяныч. – Ах, как вы глупы!

– Но что же поделаешь, голубчик? Чем мы, люди, виноваты, что нашим мозгам предел положен? Впрочем, Иван Демьяныч, не грешно быть дураком при такой температуре. Ты вот у меня умница, но небось и твои мозги раскисли и поглупели от этой жары.

Моего попугая зовут не попкой и не другим каким-нибудь птичьим названием, а Иваном Демьянычем. Это имя получил он совершенно случайно. Однажды мой человек Поликарп, чистя его клетку, вдруг сделал открытие, без которого моя благородная птица и доселе величалась бы попкой... Лентяя вдруг ни с того ни с сего осенила мысль, что нос моего попугая очень похож на нос нашего деревенского лавочника Ивана Демьяныча, и с той поры за попугаем навсегда осталось имя и отчество длинноносого лавочника. С легкой руки Поликарпа и вся деревня окрестила мою диковинную птицу в Ивана Демьяныча. Волею Поликарпа птица попала в люди, а лавочник утерял свое настоящее прозвище: он до конца дней своих будет фигурировать в устах деревенщины, как «следователей попугай».

Ивана Демьяныча я купил у матери моего предшественника, судебного следователя Пospelова, умершего незадолго перед моим назначением. Я купил его вместе со старинною дубовою мебелью, кухонным хламом и всем вообще хозяйством, оставшимся после покойника. Мои стены до сих пор еще украшают фотографические карточки его родственников, а над моею кроватью все еще висит портрет самого хозяина. Покойник, худощавый, жилистый человек с рыжими усами и большой нижней губой, сидит, выпучив глаза, в полинялой ореховой раме и не отрывает от меня глаз все время, пока я лежу на его кровати... Я не снял со стен ни одной карточки, короче говоря – я оставил квартиру такой же, какою и принял. Я слишком ленив для того, чтобы заниматься собственным комфортом, и не мешаю висеть на моих стенах не только покойникам, но даже и живым, если последние того пожелают².

² Прошу у читателя извинения за подобные выражения. Ими богата повесть несчастного Камышева, и если я их не вычеркнул, то только потому, что считал нужным, в интересах характеристики автора, печатать его повесть in toto (без пропусков – лат.). – А. Ч.

Ивану Демьянычу было так же душно, как и мне. Он ерошил свои перья, оттопыривал крылья и громко выкрикивал фразы, выученные им у моего предшественника Пospelова и Поликарпа. Чтобы занять чем-нибудь свой послеобеденный досуг, я сел перед клеткой и стал наблюдать за движениями попугая, старательно искавшего и не находившего выхода из тех мук, которые причиняли ему духота и насекомые, обитавшие в его перьях... Бедняжка казался очень несчастным...

– А в котором часу они просыпаются? – донесся до меня чей-то бас из передней...

– Как когда! – отвечал голос Поликарпа. – Когда и в пять просыпается, а когда и до утра дрыхнет... Известно, делать нечего...

– Вы ихний камердинер будете?

– Прислуга. Ну, не мешай мне, замолчи... Нешто не видишь, что я читаю?

Я заглянул в переднюю. Там, на большом красном сундуке, валялся мой Поликарп и, по обыкновению, читал какую-то книгу. Впившись своими сонными, никогда не моргающими глазами в книгу, он шевелил губами и хмурился. Видимо, его раздражало присутствие постороннего лица, высокого мужика-бородача, стоявшего перед сундуком и тщетно старавшегося завязать беседу. При моем появлении мужик сделал шаг от сундука и по-солдатски вытянулся в струнку. Поликарп соорудил недовольное лицо и, не отрывая глаз от книги, слегка приподнялся..

– Что тебе нужно? – обратился я к мужику.

– Я от графа, ваше благородие. Граф изволили вам кланяться и просили вас немедля к себе-с...

– Разве граф приехал? – удивился я.

– Точно так, ваше благородие... Вчерась ночью приехали... Письмо вот извольте-с...

– Опять черти принесли! – проговорил мой Поликарп. – Два лета без него покойно прожили, а нынче опять свинюшник в уезде заведет. Опять сраму не оберешься.

– Молчи, тебя не спрашивают!

– Меня и спрашивать не надо... Сам скажу. Опять будете от него в пьяном безобразии приезжать и в озере купаться, как есть, во всем костюме... Чисть потом! И за три дня не вычистишь!

– Что теперь граф делает? – спросил я мужика.

– Изволили обедать садиться, когда меня к вам посылали... До обеда рыбку удили в купальне-с... Как прикажете отвечать?

Я распечатал письмо и прочел в нем следующее:

«Милый мой Лекок! Если ты еще жив, здравствуешь и еще не забыл своего всепьянейшего друга, то, ни минуты не медля, облакайся в свои одежды и мчись ко мне. Приехал только прошлую ночью, но уже умираю от скуки. Нетерпение, с которым я ожидаю тебя, не знает границ. Хотел было сам съездить за тобой и увезти тебя в мою берлогу, но жара сковала все мои члены. Сажу на одном месте и обмахиваюсь веером. Ну, как живешь ты? Как поживает твой умнейший Иван Демьяныч? Все еще воюешь со своим педантом Поликарпом? Приезжай скорей и рассказывай.

Твой А. К.»

Не нужно было глядеть на подпись, чтобы в крупном, некрасивом почерке узнать пьяную, редко пишущую руку моего друга, графа Алексея Карнеева. Краткость письма, претензия его на некоторую игривость и бойкость свидетельствовали, что мой недалекий друг много изорвал почтовой бумаги, прежде чем сумел сочинить это письмо.

В письме отсутствовало местоимение «который» и старательно обойдены дееспричастия – то и другое редко удастся графу в один присест.

– Как прикажете ответить? – повторил мужик.

Я не сразу ответил на этот вопрос, да и всякий чистоплотный человек промедлил бы на моем месте. Граф любил меня и искреннейше навязывался ко мне в друзья, я же не питал к нему ничего похожего на дружбу и даже не любил его; честнее было бы поэтому прямо раз навсегда отказаться от его дружбы, чем ехать к нему и лицемерить. К тому же ехать к графу – значило еще раз окунуться в жизнь, которую мой Поликарп величал «свинюшником» и которая два года тому назад, во все время до отъезда графа в Петербург, расшатывала мое крепкое здоровье и сушила мой мозг. Эта беспутная, необычная жизнь, полная эффектов и пьяного бешенства, не успела подорвать мой организм, но зато сделала меня известным всей губернии... Я популярен... Рассудок говорил мне всю сущую правду, краска стыда за недавнее прошлое разливалась по моему лицу, сердце сжималось от страха при одной мысли, что у меня не хватит мужества отказаться от поездки к графу, но я не долго колебался. Борьба продолжалась не более минуты.

– Кланяйся графу, – сказал я посланному, – и поблагодари за память... Скажи, что я занят и что.... Скажи, что я...

И в тот самый момент, когда с моего языка готово уже было сорваться решительное «нет», мною вдруг овладело тяжелое чувство... Молодой человек, полный жизни, сил и желаний, заброшенный волею судеб в деревенские дебри, был охвачен чувством тоски, одиночества...

Вспомнился мне графский сад с роскошью его прохладных оранжерей и полумраком узких, заброшенных аллей... Эти аллеи, защищенные от солнца сводом из зеленых, сплетающихся ветвей старушек-лип, знают меня... Знают они и женщин, которые искали моей любви и полумрака... Вспомнилась мне роскошная гостиная, с сладкою ленью ее бархатных диванов, тяжелых портьер и ковров, мягких, как пух, с ленью, которую так любят молодые, здоровые животные... Пришла мне на память моя пьяная удаль, не знающая границ в своей шири, сатанинской гордости и презрении к жизни. И мое большое тело, утомленное сном, вновь захотело движений...

– Скажи, что я буду! Мужик поклонился и вышел.

– Знал бы, не впускал его, черта! – проворчал Поликарп, быстро и бесцельно перелистывая книгу.

– Оставь книгу и поди оседлай Зорьку! – сказал я строго. – Живо!

– Живо... Как же, беспрерывно... Так вот возьму и побегу... Добро бы за делом ехал, а то поедет черту рога ломать!

Это было сказано полупшепотом, но так, чтоб я слышал. Лакей, прошептавши дерзость, вытянулся передо мной и, презрительно ухмыляясь, стал ожидать ответной вспышки, но я сделал вид, что не слышал его слов. Мое молчание – лучшее и острейшее оружие в сражениях с Поликарпом. Это презрительное пропускание мимо ушей его ядовитых слов обезоруживает его и лишает почвы. Оно как наказание действует сильнее, чем подзатыльник или поток ругательных слов... Когда Поликарп вышел на двор седлать Зорьку, я заглянул в книгу, которую помешал ему читать... Это был «Граф Монте-Кристо», страшный роман Дюма... Мой цивилизованный дурак читает все, начиная с вывесок питейных домов и кончая Огюстом Контаном, лежащим у меня в сундуке вместе с другими мною не читаемыми, заброшенными книгами; но из всей массы печатного и писанного он признает одни только страшные, сильно действующие романы с знатными «господами», ядами и подземными ходами, остальное же он окрестил «чепухой». Об его чтении мне придется еще говорить в будущем, теперь же – ехать! Через четверть часа копыта моей Зорьки уже вздымали пыль по дороге от деревни до графской усадьбы. Солнце было близко к своему ночлегу, но жар и духота давали еще себя чувствовать... Накаленный воздух был неподвижен и сух, несмотря на то, что дорога моя лежала по берегу громаднейшего озера... Справа видел я водную массу, слева ласкала мой взгляд молодая, весенняя листва дубового леса, а между тем мои щеки переживали Сахару.

«Быть грозе!» – подумал я, мечтая о хорошем, холодном ливне...

Озеро тихо спало. Ни одним звуком не приветствовало оно полета моей Зорьки, и лишь писк молодого кулика нарушал гробовое безмолвие неподвижного великана. Солнце гляделось в него, как в большое зеркало, и заливало всю его ширь от моей дороги до далекого берега ослепительным светом. Ослепленным глазам казалось, что не от солнца, а от озера берет свой свет природа.

Зной вогнал в дремоту и жизнь, которою так богато озеро и его зеленые берега... Попрятались птицы, не плескалась рыба, тихо ждали прохлады полевые кузнечики и сверчки. Кругом была пустыня. Лишь изредка моя Зорька вносила меня в густое облако прибрежных комаров, да вдали на озере еле шевелились три черные лодочки старика Михея, нашего рыболова, взявшего на откуп все озеро.

Я ехал не по прямой линии, а по окружности, какую представлялись берега круглого озера. Ехать по прямой линии можно было только на лодке, едущие же сухим путем делают большой круг и проигрывают около восьми верст. Во все время пути я, глядя на озеро, видел противоположный глинистый берег, над которым белела полоса цветшего черешневого сада, из-за черешен высилась графская клуня, усеянная разноцветными голубями, и белела маленькая колокольня графской церкви. У глинистого берега стояла купальня, обитая парусом; на перилах сушились простыни. Все это я видел, и моим глазам казалось, что меня отделяет от моего приятеля-графа какая-нибудь верста, а между тем, чтобы добраться до графской усадьбы, мне нужно было проскакать шестнадцать верст.

На пути я думал о своих странных отношениях к графу. Интересно мне было дать себе в них отчет, регулировать их, но – увы! – этот отчет оказался непосильной задачей. Сколько я ни думал, ни решал, а в конце концов пришлось остановиться на заключении, что я плохой знаток самого себя и вообще человека. Люди, знавшие меня и графа, различно истолковывают наши взаимные отношения. Узкие лбы, не видящие ничего дальше своего носа, любят утверждать, что знатный граф видел в «бедном и незнатном» судебном следователе хорошего прихвостня-собутыльника. Я, пишущий эти строки, по их разумению, ползал и пресмыкался у графского стола ради крох и огрызков! По их мнению, знатный богач, пугало и зависть всего С-го уезда, был очень умен и либерален; иначе тогда непонятно было бы милостивое снисхождение до дружбы с неимущим следователем и тот сущий либерализм, который сделал графа нечувствительным к моему «ты». Люди же поумнее объясняют наши близкие отношения общностью «духовных интересов». Я и граф – сверстники. Оба мы кончили курс в одном и том же университете, оба мы юристы и оба очень мало знаем: я знаю кое-что, граф же забыл и утопил в алкоголе все, что знал когда-нибудь. Оба мы гордецы и, в силу каких-то одним только нам известных причин, как дикари, чуждаемся общества. Оба мы не стесняемся мнением света (т. е. С-го уезда), оба безнравственны и оба плохо кончим. Таковы связующие нас «духовные интересы». Более этого ничего не могут сказать о наших отношениях знавшие нас люди.

Они, конечно, сказали бы более, если бы знали, как слаба, мягка и податлива натура друга моего графа и как силен и крепок я. Они многое сказали бы, если бы знали, как любил меня этот щедедушный человек и как я его не любил! Он первый предложил мне свою дружбу, и я первый сказал ему «ты», но с какою разницей в тоне! Он, в припадке хороших чувств, обнял меня и робко попросил моей дружбы – я же, охваченный однажды чувством презрения, безразличности, сказал ему:

– Полно тебе молоть чепуху!

И это «ты» он принял как выражение дружбы и стал носить его, платя мне честным, братским «ты»...

Да, лучше и честнее я сделал бы, если бы повернул свою Зорьку и поехал назад к Поликарпу и Ивану Демьянычу.

Впоследствии я думал не раз: сколько несчастий не пришлось бы мне перенести на своих плечах и сколько добра принес бы я своим ближним, если бы в этот вечер у меня хватило

решимости поворотить назад, если бы моя Зорька взбесилась и унесла меня подальше от этого страшного большого озера! Сколько мучительных воспоминаний не давили бы теперь моего мозга и не заставляли бы мою руку то и дело оставлять перо и хвататься за голову! Но не стану забегать вперед, тем более, что впереди придется еще много раз останавливаться на горечи. Теперь о веселом...

Моя Зорька внесла меня в ворота графской усадьбы. У самых ворот она споткнулась, и я, потеряв стремя, чуть было не свалился на землю.

– Худой знак, барин! – крикнул мне какой-то мужик, стоявший у одной из дверей длинных графских конюшен.

Я верю в то, что человек, упавший с лошади, может сломать себе шею, но не верую в предзнаменования. Отдав поводку мужику и обивая хлыстом пыль с ботфорт, я побежал в дом. Меня никто не встретил. Окна и двери в комнатах были открыты настежь, но, несмотря на это, в воздухе стоял тяжелый, странный запах. То была смесь запаха ветхих, заброшенных покоев с приятным, но едким, наркотическим запахом тепличных растений, недавно принесенных из оранжереи в комнаты... В зале, на одном из диванов, обитых светло-голубой шелковой материей, лежали две помятые подушки, а перед диваном на круглом столе я увидел стакан с несколькими каплями жидкости, распространявшей запах крепкого рижского бальзама. Все это говорило за то, что дом обитаем, но я, обойдя все одиннадцать комнат, не встретил ни одной живой души. В доме царила такая же пустыня, как и вокруг озера...

Из так называемой «мозаиковой» гостиной вела в сад большая стеклянная дверь. Я с шумом отворил ее и по мраморной террасе спустился в сад. Тут, пройдя несколько шагов по аллее, я встретил девятистолетнюю старуху Настасью, бывшую когда-то нянькой у графа. Это – маленькое, сморщенное, забытое смертью существо, с лысой головкой и колючими глазами. Когда глядишь на ее лицо, то невольно припоминаешь прозвище, данное ей дворней: «Сычиха»... Увидев меня, она вздрогнула и чуть не уронила стакан со сливками, который она несла обеими руками.

– Здорово, Сычиха! – сказал я ей.

Она искоса поглядела на меня и молча прошла мимо... Я взял ее за плечо...

– Не бойся, дура... Где граф? Старуха показала себе на уши.

– Ты глуха? А давно ты оглохла?

Старуха, несмотря на свой преклонный возраст, отлично слышит и видит, но находит нелишним клеветать на свои органы чувств... Я пригрозил ей пальцем и отпустил ее.

Пройдя еще несколько шагов, я услышал голоса, а немного погодя увидел и людей. В том месте, где аллея расширялась в площадку, окруженную чугунными скамьями, под тенью высоких белых акаций стоял стол, на котором блестел самовар. Около стола говорили. Я тихо подошел по траве к площадке и, скрывшись за сиреневый куст, стал искать глазами графа.

Мой друг, граф Карнеев, сидел за столом на складном решетчатом стуле и пил чай. На нем был пестрый халат, в котором я видел его два года тому назад, и соломенная шляпа. Лицо было озабочено, сосредоточено, сжато в складки, так что человек, не знакомый с ним, мог бы подумать, что его мучит в данную минуту солидная мысль, забота... Наружно граф нисколько не изменился за время нашей двухлетней разлуки. То же маленькое худое тело, жидкое и дряблкое, как тело коростеля. Те же узкие чахоточные плечи с маленькой рыженькой головкой. Носик по-прежнему розов, щеки, как и два года тому назад, отвисают тряпочками. На лице ничего смелого, сильного, мужественного... Все слабо, апатично и вяло. Внушительны одни только большие, отвисающие вниз усы. Моему другу кто-то сказал, что ему идут длинные усы. Он поверил и теперь каждое утро меряет, насколько длиннее стала растительность над его бледными губами. С этими усами он напоминает усатого, но очень молодого и хилого котенка.

Рядом с графом за тем же столом сидел какой-то неизвестный мне толстый человек с большой стриженной головой и очень черными бровями. Лицо этого было жирно и лоснилось,

как спелая дыня. Усы длиннее, чем у графа, лоб маленький, губы сжаты, и глаза лениво глядят на небо... Черты лица расплылись, но, тем не менее, они жестки, как высохшая кожа. Тип не русский... Толстый человек был без сюртука и без жилета, в одной сорочке, на которой темнели мокрые от пота места. Он пил не чай, а зельтерскую воду. В почтительном отдалении от стола стоял плотный, приземистый человечек с красным, жирным затылком и оттопыренными ушами. Это был управляющий графа, Урбенин. Ради приезда его сиятельства, он нарядился в новую черную пару и теперь испытывал муки. Пот ручьями лил с его красного, загоревшего лица. Рядом с управляющим стоял мужик, приехавший ко мне с письмом. Только тут я заметил, что у этого мужика не было одного глаза. Вытянувшись в струнку и не позволяя себе ни малейшего движения, он стоял, как статуя, и ждал вопросов.

– Взять бы вот у тебя, Кузьма, твою нагайку да отшпандорить тебя во все корки, – говорил ему с расстановкой своим внушительным и мягким баском управляющий. – Разве можно так неряшливо исполнять господские приказания? Ты должен был просить их пожаловать сюда немедленно и узнать, когда именно они могут быть?

– Да, да, да... – нервничал граф. – Ты должен был все узнать! Он сказал: буду! Но ведь этого недостаточно! Он мне сейчас нужен! Обя-за-тель-но сейчас! Ты его просил, а он тебя не понял!

– На что он тебе так понадобился? – спросил графа толстяк.

– Мне нужно его видеть!

– Только-то? А по-моему, Алексей, этот твой следователь лучше бы сделал, если бы сегодня посидел у себя дома. Мне теперь не до гостей.

Я сделал большие глаза. Что значило это хозяйское, повелительное «мне»?

– Но ведь это не гость! – сказал умоляющим голосом мой друг. – Он не помешает тебе отдохнуть после дороги.

С ним, пожалуйста, не церемонься!.. Увидишь, что это за человек! Ты сразу его полюбишь и подружишься с ним, голубчик!

Я вышел из-за сиреневых кустов и направился к столу. Граф увидел меня, узнал, и на просиявшем лице его заиграла улыбка.

– Вот и он! Вот и он! – заговорил он, краснея от удовольствия и выскакивая из-за стола. – Как это мило с твоей стороны!

И, подбежав ко мне, он подскочил, обнял меня и своими жесткими усами несколько раз поцарапал мою щеку. За поцелуями следовало продолжительное рукопожатие и засматривание мне в глаза...

– А ты, Сергей, нисколько не изменился! Все тот же! Такой же красавец и силач! Спасибо, что уважил и приехал!

Освободившись от графских объятий, я поздоровался с управляющим, моим хорошим знакомым, и сел за стол.

– Ах, голубчик! – продолжал встревоженный и обрадованный граф. – Если бы ты знал, как мне приятно видеть твою серьезную физиономию! Ты незнаком? Позволь тебе представить: мой хороший друг Казтан Казимирович Пшехоцкий. А это вот, – продолжал он, указав толстяку на меня, – мой хороший, давнишний друг Сергей Петрович Зиновьев! Здешний следователь...

Чернобровый толстяк слегка приподнялся и подал мне свою жирную, ужасно потную руку.

– Очень приятно, – пробормотал он, рассматривая меня. – Очень рад.

Изливши свои чувства и успокоившись, граф налил мне стакан холодного красно-бурого чая и придвинул к моим рукам ящик с печеньями.

– Кушай... Проездом через Москву у Эйнема купил. А я на тебя сердит, Сережа, так сердит, что даже хотел поругаться с тобой!.. Мало того, что ты не написал мне в эти два года ни строчки, но даже не удостоил ответом ни одного моего письма! Это не по-дружески!

– Я не умею писать писем, – сказал я, – да кстати же у меня нет и времени для переписки. И о чем, скажи, пожалуйста, я мог писать тебе?

– Мало ли о чем?

– Право, не о чем. Я признаю письма только трех сортов: любовные, поздравительные и деловые. Первых я не писал потому, что ты не женщина и я в тебя не влюблен, вторые тебе не нужны, а от третьих мы избавлены, так как у нас с тобой отродясь общих дел не было.

– Это, положим, так, – согласился граф, быстро и охотно со всем соглашающийся, – но все-таки мог бы хоть строчку... И потом, как рассказывает вот Петр Егорыч, ты за все два года ни разу не наведлся сюда, точно за тысячу верст живешь или... брезгуешь моим добром. Мог бы здесь пожить, поохотиться. И мало ли что могло здесь без меня случиться!

Граф говорил много и долго. Раз начавши говорить о чем-нибудь, он болтал языком без умолку и без конца, как бы мелка и жалка ни была тема.

В произнесении звуков он был неумоим, как мой Иван Демьяныч. Я едва выносил его за эту способность. Остановил его на этот раз лакей Илья, высокий, тонкий человек в поношенной пятнистой ливрее, поднесший графу на серебряном подносе рюмку водки и полстакана воды. Граф выпил водку, запил водой и, поморщившись, покачал головой.

– А ты еще не бросил походя дуть водку! – сказал я.

– Не бросил, Сережа!

– Ну, хоть брось пьяную манеру морщиться и качать головой! Противно.

– Я, голубчик, все бросаю... Мне доктора запретили пить. Пью теперь только потому, что сразу нездорово бросать... Нужно постепенно...

Я поглядел на больное, истрепавшееся лицо графа, на рюмку, на лакея в желтых башмаках, поглядел я на чернобрового поляка, который с первого же раза показался мне почему-то негодяем и мошенником, на одноглазого вытянувшегося мужика, – и мне стало жутко, душно... Мне вдруг захотелось оставить эту грязную атмосферу, предварительно открыв графу глаза на всю мою к нему безграничную антипатию... Был момент, когда я готов уже был подняться и уйти... Но я не ушел... Мне помешала (стыдно сознаться!) простая физическая лень...

– Дай и мне водки! – сказал я Илье. Продолговатые тени стали ложиться на аллею и нашу площадку...

Далекое кваканье лягушек, карканье ворон и пение иволги приветствовали уже закат солнца. Наступал весенний вечер...

– Посади Урбенина, – шепнул я графу. – Он стоит перед тобой, как мальчишка.

– Ах, сам я и не догадался! Петр Егорыч, – обратился граф к управляющему, – садитесь, пожалуйста! Будет вам стоять!

Урбенин сел и поглядел на меня благодарными глазами. Вечно здоровый и веселый, он показался мне на этот раз больным, скупающим. Лицо его было точно помято, сонно, и глаза глядели на нас лениво, нехотя...

– Что у нас новенького, Петр Егорыч? Что хорошенького? – спросил его Карнеев. – Нет ли чего-нибудь эдакого... из ряда вон выдающегося?

– Все по-старому, ваше сиятельство...

– Нет ли того... новеньких девочек, Петр Егорыч? Нравственный Петр Егорыч покраснел.

– Не знаю, ваше сиятельство... Я в это не вхожу.

– Есть, ваше сиятельство, – пробасил все время до этого молчавший одноглазый Кузьма. – И очень даже стоящие.

– Хорошие?

– Всякие есть, ваше сиятельство, на всякий вкус... И brunетки, и баландинки, и всякие...

– Ишь ты!.. Постой, постой... Я теперь припоминаю тебя... Мой бывший Лепорелло, секретарь по части... Тебя, кажется, Кузьмой зовут?

– Точно так...

– Помню, помню... Какие же теперь у тебя есть на примете? Небось, всё мужички?

– Больше, известно, мужички, но есть и почище...

– Где ж это ты почище нашел? – спросил Илья, щуря на Кузьму глаза.

– На Святой к почтарю свояченица приехала... Настась Иванна... Девка вся на винтах – сам бы ел, да деньги надобны... Кровь во всю щеку и прочее такое... Есть и того почище. Только вас и дожидалась, ваше сиятельство. Молоденькая, пухлявенькая, шустренькая... красота! Этакой красоты, ваше сиятельство, и в Питинбурге не изволили видеть...

– Кто же это?

– Оленька, лесничего Скворцова дочка.

Под Урбениным затрещал стул. Упираясь руками о стол и багровея, управляющий медленно поднялся и повернул свое лицо к одноглазому мужику. Выражение утомления и скуки уступило свое место сильному гневу...

– Замолчи, хам! – проворчал он. – Гадина одноглазая!.. Говори, что хочешь, но не смей ты трогать порядочных людей!

– Я вас не трогаю, Петр Егорыч, – невозмутимо проговорил Кузьма.

– Я не про себя говорю, болван! Впрочем... простите меня, ваше сиятельство, – обратился управляющий к графу. – Простите, что я сделал сцену, но я просил бы ваше сиятельство запретить вашему Лепорелло, как вы изволили его назвать, распространять свое усердие на особ, достойных всякого уважения!

– Я ничего... – пролепетал наивный граф. – Он ничего не сказал такого особенного.

Обиженный и взволнованный до крайности, Урбенин отошел от стола и стал к нам боком. Скрестив на груди руки и мигая глазами, он спрятал от нас свое багровое лицо за веточку и задумался.

Не предчувствовал ли этот человек, что в недалеком будущем его нравственному чувству придется испытать оскорбления в тысячу раз горшие?

– Не понимаю, чего он обиделся! – шепнул мне граф. – Вот чудак! Оскорбительного ведь ничего не было сказано.

После двухлетнего трезвого житья рюмка водки подействовала на меня слегка опьяняюще. В мозгу и по всему телу моему разлилось чувство легкости, удовольствия. К тому же я стал ощущать вечернюю прохладу, которая мало-помалу вытесняла дневную духоту... Я предложил пройтись. Из дома принесли графу и его новому другу-поляку их сюртуки, и мы пошли. За нами последовал и Урбенин.

Графский сад, по которому мы гуляли, ввиду его поражающей роскоши, достоин особого, специального описания. В ботаническом, хозяйственном и во многих других отношениях он богаче и грандиознее всех садов, какие я когда-либо видел. Кроме вышеописанных поэтических аллей с зелеными сводами, вы найдете в нем все, чего только может требовать от сада взгляд прихотливого баловня. Тут и всевозможные, туземные и иностранные, фруктовые деревья, начиная с черешен и слив и кончая крупным, с гушиное яйцо, абрикосом. Шелковица, барбарис, французские бергамотовые деревья и даже маслина попадаются на каждом шагу... Тут и полуразрушенные, поросшие мхом гроты, фонтаны, прудики, предназначенные для золотой рыбы и ручных карпов, горы, беседки, дорогие оранжереи... И эта редкая роскошь, собранная руками дедов и отцов, это богатство больших, полных роз, поэтических гротов и бесконечных аллей было варварски заброшено и отдано во власть сорным травам, воровскому топору и галкам, бесцеремонно вившим свои уродливые гнезда на редких деревьях! Законный владелец

этого добра шел рядом со мной, и ни один мускул его испитого и сытого лица не дрогнул при виде запущенности и кричащей человеческой неряшливости, словно не он был хозяином сада. Раз только, от нечего делать, он заметил управляющему, что недурно было бы, если бы дорожки были посыпаны песочком. Он обратил внимание на отсутствие никому не нужного песочка, а не заметил голых, умерших за холодную зиму деревьев и коров, гулявших по саду. На его замечание Урбенин ответил, что для надзора за садом нужно иметь человек десять работников, а так как его сиятельство не изволит жить у себя в имении, то затраты на сад являются роскошью ненужной и непроизводительной. Граф, конечно, согласился с этим доводом.

– Да и некогда мне, признаться! – махнул рукой Урбенин. – Летом в поле, зимой в городе хлеб продаешь... Не до сада тут!

Главная, так называемая «генеральная» аллея, вся прелесть которой состояла в ее старых, широких липах и в массе тюльпанов, тянувшихся двумя пестрыми полосами во всю ее длину, оканчивалась вдали желтым пятном. То была желтая каменная беседка, в которой когда-то был буфет с бильярдом, кеглями и китайской игрой. Мы бесцельно направились к этой беседке... У ее входа мы были встречены живым существом, несколько расстроившим нервы моих не храбрых спутников.

– Змея! – вдруг взвизгнул граф, хватая меня за руку и бледнея. – Посмотри!

Поляк сделал шаг назад, остановился, как вкопанный, и растопырил руки, точно загораживая путь привидению... На верхней ступени каменной полуразрушенной лестнички лежала молодая змея из породы наших обыкновенных русских гадюк. Увидев нас, она подняла головку и зашевелилась... Граф еще раз взвизгнул и спрятался за мою спину.

– Не бойтесь, ваше сиятельство!.. – сказал лениво Урбенин, занося ногу на первую ступень...

– А если укусит?

– Не укусит. Да и вообще, кстати говоря, вред от укушения этих змей преувеличен. Я был раз укушен старой змеей – и не умер, как видите.

– Человеческое жало опаснее змеиного! – не преминул сморальничать со вздохом Урбенин.

И подлинно. Не успел управляющий пройти две-три ступени, как змея вытянулась во всю свою длину и с быстротою молнии юркнула в щель между двух плит. Войдя в беседку, мы увидели другое живое существо. На старом, полинявшем бильярде с порванным сукном лежал старик невысокого роста в синем пиджаке, полосатых панталонах и жокейском картузике. Он сладко и бесмятежно спал. Вокруг его беззубого, похожего на дупло рта и на остром носу хозяйничали мухи. Худой, как скелет, с открытым ртом и неподвижный, он походил на труп, только что принесенный из мертвецкого подвала для вскрытия.

– Франц! – толкнул его Урбенин. – Франц!

После пяти-шести толчков Франц закрыл рот, приподнялся, обвел всех нас глазами и опять лег. Через минуту рот его был опять открыт, и мух, гулявших около его носа, опять беспокоило легкое дрожанье от храпа.

– Спит, свинья беспутная! – вздохнул Урбенин.

– Это, кажется, наш садовник Трихер? – спросил граф.

– Он самый... Вот так вот каждый день... Днем спит как убитый, а ночью в карты играет. Сегодня, говорят, до шести часов утра играл...

– Во что же он играет?

– В азартные игры... Больше все в стуколку.

– Ну, такие господа плохо дело делают... Жалованье они только даром берут.

– Это я не для того вам сказал, ваше сиятельство, – спохватился Урбенин, – чтобы жаловаться или выражать неудовольствие, а просто так... хотелось пожалеть, что такой способный

человек и страсти подвержен. А человек он трудящийся, ничего себе... недаром жалованье берет.

Мы еще раз взглянули на картежника Франца и вышли из беседки. Отсюда мы направились к садовой калитке, выходившей в поле.

В редком романе не играет солидной роли садовая калитка. Если вы сами не подметили этого, то справьтесь у моего Поликарпа, проглотившего на своем веку множество страшных и нестрашных романов, и он, наверное, подтвердит вам этот ничтожный, но все-таки характерный факт.

Мой роман тоже не избавлен от калитки. Но моя калитка разнится от других тем, что моему перу придется провести сквозь нее много несчастных и почти ни одного счастливого, что бывает в других романах только в обратном порядке. И, что хуже всего, эту калитку мне приходилось уже раз описывать, но не как романисту, а как судебному следователю... У меня проведет она сквозь себя более преступников, чем влюбленных.

Через четверть часа мы, подпираясь тростями, плелись на гору, называемую у нас Каменной Могилой.

У деревень существует легенда, что под этой каменной грудой покоится тело какого-то татарского хана, боявшегося, чтобы после его смерти враги не надругались над его прахом, а потому и завещавшего взвалить на себя гору камня. Но эта легенда едва ли справедлива... Каменные пласты, их взаимное положение и величина исключают вмешательство человеческих рук в происхождение этой горы. Она стоит особняком в поле и напоминает собою опрокинутый колпак.

Взобравшись на нее, мы увидели все озеро во всей его пленительной шири и не поддающейся описанию красоте. Солнце уже не отражалось в нем; оно зашло и оставило после себя широкую багровую полосу, окрасившую окрестности в приятный, розовато-желтый цвет. У наших ног расстилалась графская усадьба с ее домом, церковью и садом, а вдали, по ту сторону озера, серела деревенька, в которой волею судеб я имел свою резиденцию. Поверхность озера была по-прежнему неподвижна. Лодочки старика Михея, отделившись друг от друга, спешили к берегу.

В сторону от моей деревеньки темнела железнодорожная станция с дымком от локомотива, а позади нас, по другую сторону Каменной Могилы, расстилалась новая картина. У подножия Могилы шла дорога, по бокам которой высились старики-тополи. Дорога эта вела к графскому лесу, тянувшемуся до самого горизонта.

Я и граф стояли на горе. Урбенин и поляк, как люди тяжелые, предпочли подождать нас внизу, на дороге.

– Что это за шишка? – спросил я графа, кивнув на поляка. – Где ты его подцепил?

– Это очень милый господин, Сережа, очень милый! – встревоженно заговорил граф. – Ты скоро подружишься с ним!

– Ну, это едва ли. Отчего он все молчит?

– По натуре он молчалив! Но зато как умен!

– Да что он за человек?

– В Москве я с ним познакомился. Он очень милый. После ты все узнаешь, Сережа, а теперь не спрашивай. Спустимся?

Мы спустились с Могилы и пошли по дороге к лесу. Стало заметно темнеть. Из лесу доносилось кукуканье кукушки и голосовые вздрагивания утомленного, вероятно, молодого соловья.

– Ау! ау! – услышали мы звонкий детский голосок, подходя к лесу. – Ловите меня!

И из лесу выбежала маленькая девочка, лет пяти, с белой, как лен, головкой и в голубом платье. Увидев нас, она звонко захохотала и, подпрыгивая, подскочила к Урбенину и обняла его колено. Урбенин поднял ее и поцеловал в щеку.

– Моя дочка Саша! – сказал он. – Рекомендую.

За Сашей гнался из лесу гимназист лет пятнадцати, сын Урбенина. Увидев нас, он в нерешимости снял шапку, надел и опять снял. За ним тихо двигалось красное пятно. Это пятно сразу приковало к себе наше внимание.

– Какое чудное видение! – воскликнул граф, хватая меня за руку. – Погляди! Какая прелесть! Что это за девочка? Я и не знал, что в моих лесах обитают такие наяды!

Я взглянул на Урбенина, чтобы спросить, что это за девушка, и, странно, только в этот момент заметил, что управляющий ужасно пьян. Он, красный как рак, покачнулся и схватил меня за локоть.

– Сергей Петрович! – зашептал он мне на ухо, обдавая меня спиртными парами. – Умоляю вас – удержите графа от дальнейших замечаний относительно этой девушки. Он по привычке может лишнее сказать, а это в высшей степени ни достойная особа!

«В высшей степени достойная особа» представляла из себя девятнадцатилетнюю девушку с прекрасной белокурой головкой, добрыми голубыми глазами и длинными кудрями. Она была в ярко-красном, полудетском, полудевическом платье. Стройные, как иглы, ножки в красных чулках сидели в крошечных, почти детских башмачках. Круглые плечи ее все время, пока я любовался ею, кокетливо ежились, словно им было холодно и словно их кусал мой взгляд.

– При таком молодом лице и такие развитые формы! – шепнул мне граф, потерявший еще в самой ранней молодости способность уважать женщин и не глядеть на них с точки зрения испорченного животного.

У меня же, помню, затеплилось в груди хорошее чувство. Я был еще поэтом и в обществе лесов, майского вечера и начинающей мерцать вечерней звезды мог глядеть на женщину только поэтом... Я смотрел на девушку в красном с тем же благоговением, с каким привык глядеть на леса, горы, лазурное небо. У меня еще тогда осталась некоторая доля сентиментальности, полученной мною в наследство от моей матери-немки.

– Кто это? – спросил граф.

– Это дочь лесничего Скворцова, ваше сиятельство! – сказал Урбенин.

– Это та Оленька, о которой говорил одноглазый мужик?

– Да, он упомянул ее имя, – ответил управляющий, глядя на меня умоляющими, большими глазами.

Девушка в красном пропустила нас мимо себя, по-видимому, не обращая на нас ни малейшего внимания. Глаза ее глядели куда-то в сторону, но я, человек, знающий женщин, чувствовал на своем лице ее зрачки.

– Кто из них граф? – услышал я позади нас ее шепот.

– Вот этот, с длинными усами, – отвечал гимназист. И мы услышали сзади себя серебристый смех... То был смех разочарованной... Она думала, что граф, владелец этих громадных лесов и широкого озера – я, а не этот пигмей с испитым лицом и длинными усами...

Я услышал глубокий вздох, выходящий из коренастой груди Урбенина. Железный человек еле двигался.

– Отпусти управляющего, – шепнул я графу. – Он болен или... пьян.

– Вы, кажется, больны, Петр Егорыч! – обратился граф к Урбенину. – Вы мне не нужны, а потому я вас не задерживаю.

– Не беспокойтесь, ваше сиятельство. Благодарю вас за ваше внимание, но я не болен.

Я оглянулся... Красное пятно не двигалось и глядело нам вслед...

Бедная белокурая головка! Думал ли я в этот тихий, полный покоя майский вечер, что она впоследствии будет героиней моего беспокойного романа?

Теперь, когда я пишу эти строки, в мои теплые окна злобно стучит осенний дождь и где-то надо мной воет ветер. Я гляжу на темное окно и на фоне ночного мрака силюсь создать

силою воображения мою милую героиню... И я вижу ее с ее невинно-детским, наивным, добрым личиком и любящими глазами. Мне хочется бросить перо и разорвать, сжечь то, что уже написано. К чему трогать память этого молодого, безгрешного существа?

Но тут же, около моей чернильницы, стоит ее фотографический портрет. Здесь белокурая головка представлена во всем суетном величии глубоко павшей красивой женщины. Глаза, утомленные, но гордые развратом, неподвижны. Здесь она именно та змея, вред от упущения которой Урбенин не назвал бы преувеличенным.

Она дала буре поцелуй, и буря сломала цветок у самого корня. Много взято, но зато слишком дорого и заплачено. Читатель простит ей ее грехи...

Мы пошли по лесу.

Сосны скучны своим молчаливым однообразием. Все они одинакового роста, похожи одна на другую и во все времена года сохраняют свой вид, не зная ни смерти, ни весеннего обновления. Но зато привлекательны они своей угрюмостью: неподвижны, бесшумны, словно унылую думу думают.

– Не воротиться ли нам? – предложил граф.

На этот вопрос не последовало ответа. Поляку было решительно все равно, где бы ни быть, Урбенин не считал свой голос решающим, а я слишком обрадовался лесной прохладе и смолистому воздуху, чтобы повернуть назад. К тому же нужно было убить чем-нибудь, хотя бы простою прогулкой, время до ночи. Мысль о приближающейся дикой ночи сопровождалась сладким замиранием сердца. Я, стыдно сознаюсь, мечтал о ней и мысленно уже предвкушал ее наслаждение. А по тому нетерпению, с каким граф то и дело поглядывал на часы, видно было, что и его терзало ожидание. Мы чувствовали, что понимали друг друга.

Около домика лесничего, ютившегося между сосен на маленькой квадратной площадке, нас встретили со звонким, певучим лаем две маленькие собаки желто-огненного цвета, неизвестной мне породы, гибкие, как угри, и лоснящиеся. Узнав Урбенина, они весело замахали хвостами и побежали к нему, из чего можно было заключить, что управляющий часто посещал домик лесничего. Тут же около домика встретил нас какой-то парень без сапог и без шапки, с крупными веснушками на удивленном лице. Минуту он глядел на нас молча, выпучив глаза, потом же, узнав, вероятно, графа, ахнул и опрометью побежал в домик.

– Я знаю, зачем он побежал, – засмеялся граф. – Я его помню... Это Митька.

Граф не обознался. Меньше чем через минуту Митька вышел из домика, неся на подносе рюмку водки и полстакана воды.

– На доброе здоровье, ваше сиятельство! – сказал он, поднося и улыбаясь во все свое глупое, удивленное лицо.

Граф выпил водку, «закусил» водой, но на этот раз не поморщился. В ста шагах от домика стояла чугунная скамья, такая же старая, как и сосны. Мы сели на нее и занялись созерцанием майского вечера во всей его тихой красоте... Над нашими головами с карканьем летали испуганные вороны, с разных сторон доносилось соловьиное пение; это только и нарушало всеобщую тишину.

Граф не умеет молчать даже в тихий весенний вечер, когда человеческий голос менее всего приятен.

– Я не знаю, останешься ли ты доволен? – обратился он ко мне. – Я заказал к ужину уху из ершей и дичь. К водке будет холодная осетрина и поросенок с хреном.

Словно рассердись на эту прозу, поэтические сосны вдруг зашевелили своими верхушками, и по лесу пронесся тихий ропот. Свежий ветерок пробежал по просеке и поиграл травой.

– Будет вам! – крикнул Урбенин собачонкам огненного цвета, мешавшим ему своими ласками закурить папиросу. – А мне сдается, что сегодня будет дождь. По воздуху чувствую. Сегодня была такая ужасная жара, что не нужно быть ученым профессором, чтобы предсказать дождь. Для хлеба будет хорошо.

«А на что тебе хлеб, – подумал я, – если его граф пропьет? Незачем дождю и трудиться». По лесу еще раз пробежал ветерок, но на этот раз более резкий. Сосны и трава зароптали громче.

– Пойдемте домой.

Мы встали и лениво поплелись назад, к домику.

– Лучше быть этой белокурой Оленькой, – обратился я к Урбенину, – и жить здесь со зверями, чем судебным следователем и жить с людьми... Покойнее. Не правда ли, Петр Егорыч?

– Чем ни быть, лишь бы на душе было покойно, Сергей Петрович.

– А у этой хорошенькой Оленьки покойно на душе?

– Одному только Богу ведома чужая душа, но мне кажется, что ей не из чего беспокоиться. Глядя не много, грехов – как у малолетка... Это очень хорошая девушка! Но вот, наконец, и небо про дождь заговорило...

Послышался грохот не то далекого экипажа, не то игры в кегли... Прогремел где-то вдаль за лесом гром... Митька, все время следивший за нами, вздрогнул и быстро закрестился...

– Гроза! – встрепенулся граф. – Вот сюрприз! Этак нас дорогой дождь захватит... И темно как стало! Говорил: воротимся! Так нет, дальше пошел...

– Мы в домике грозу переждем, – предложил я.

– Зачем же в домике? – заговорил Урбенин, как-то странно мигая глазами. – Дождь будет идти всю ночь, так и вы всю ночь в домике просидите? А вы не извольте беспокоиться... Идите себе, а Митька побежит вперед, экипаж вам навстречу вышлет.

– Ничего, авось и не всю ночь дождь будет хлестать... Грозовые тучи обыкновенно скоро проходят... Кстати же я незнаком еще с новым лесничим, и хотелось бы с этой Оленькой поболтать... узнать, что за птичка...

– Я не прочь! – согласился граф.

– Но как вы туда пойдете, ежели... ежели там того... не прибрано? – залепетал встревоженно Урбенин. – Просидеть там в духоте, ваше сиятельство, в то время, когда дома быть можно... Не понимаю, что за удовольствие!.. А знакомиться с лесничим, ежели он болен...

Очевидно было, что управляющему сильно не хотелось, чтобы мы вошли в домик лесничего. Он даже растопырил руки, точно желая загородить нам дорогу... Я понял по его лицу, что у него были причины не впускать нас. Уважая я чужие причины и тайны, но на этот раз меня сильно подстрекнуло любопытство. Я настоял, и мы вошли в домик.

– В зал пожалуйста! – не сказал, а как-то особенно икнул, захлебываясь от радости, босой Митька...

Представьте вы себе самый маленький в мире зал с некрашеными деревянными стенами. Стены увешаны олеографиями «Нивы», фотографиями в раковинных, или, как они у нас называются, ракушковых рамочках и аттестатами... Один аттестат – благодарность какого-то барона за долголетнюю службу, остальные – лошадиные... Кое-где по стенам вьется плющ... В углу перед маленьким образом тихо теплится и слабо отражается в серебряной оправе синий огонек. У стен жмутся стулья, по-видимому, недавно купленные... Куплено много лишних, но и их поставили: девать некуда... Тут же теснятся кресла с диваном в белоснежных чехлах с оборками и кружевами и круглый лакированный стол. На диване дремлет ручной заяц... Уютно, чистенько и тепло... На всем заметно присутствие женщины. Даже этажерочка с книгами глядит как-то невинно, по-женски, словно ей так и хочется сказать, что на ней нет ничего, кроме слабеньких романов и смиренных стихов... Прелесть таких уютных, теплых комнаток чувствуется не так весною, как осенью, когда ищешь приюта от холода, сырости...

Митька с шумом, сопя, дуя и громко чиркая спичками, зажег две свечи и осторожно, как молоко, поставил их на стол. Мы сели на кресла, переглянулись и засмеялись...

– Николай Ефимыч больной лежит, – пояснил отсутствие хозяев Урбенин, – а Ольга Николаевна, должно быть, моих детей пошла провожать...

– Митька, двери заперты? – услышали мы слабый тенор из соседней комнаты.

– Заперты-с, Николай Ефимыч! – прохрипел Митька и полетел опроретью в соседнюю комнату.

– То-то... Смотри, чтобы все заперты были... – сказал тот же слабый голос. – На ключ, крепко-накрепко... Если воры будут лезть, то ты мне скажешь... Я их, мерзавцев, ружьем... подлецов этаких...

– Беспременно-с, Николай Ефимыч!

Мы засмеялись и вопросительно поглядели на Урбенина. Тот покраснел и, чтобы скрыть свое смущение, начал поправлять на окне занавеску... Что сей сон значил? Мы опять переглянулись.

Но недоумевать было некогда. На дворе слышались поспешные шаги, затем шум на крыльце и хлопанье дверью. В «зал» влетела девушка в красном.

– «Люблю грозу в на-ча-ле мая!» – запела она высоким, визжащим сопрано, прерывая свой визг смехом, но, увидев нас, она вдруг остановилась и умолкла.

Она сконфузилась и тихо, как овечка, пошла в комнату, откуда только что слышался голос ее отца, Николая Ефимыча.

– Не ожидала! – усмехнулся Урбенин.

Через несколько времени она тихо вошла, села на стул, ближайший к двери, и стала нас рассматривать. Смотрела она на нас смело, в упор, словно мы были не новые для нее люди, а животные зоологического сада. Минуту и мы глядели на нее молча, не двигаясь... Я согласился бы и год просидеть неподвижно и глядеть на нее – до того хороша она была в этот вечер. Свежий, как воздух, румянец, часто дышащая, поднимающаяся грудь, кудри, разбросанные на лоб, на плечи, на правую руку, поправляющую воротничок, большие блестящие глаза... все это на одном маленьком теле, поглощаемое одним взглядом... Поглядишь один раз на это маленькое пространство и увидишь больше, чем если бы глядел целые века на нескончаемый горизонт... На меня глядела она серьезно, снизу вверх, вопрошающе; когда же ее глаза переходили с меня на графа или поляка, то я начинал читать в них обратное: взгляд сверху вниз и смех...

Первый заговорил я.

– Рекомендуюсь, – сказал я, вставая и подходя к ней, – Зиновьев... А это, рекомендую, мой друг, граф Карнеев... Просим прощения, что без приглашения вломились в ваш хорошенький домик... Мы, конечно, не сделали бы этого, если бы нас не загнала гроза...

– Но ведь от этого не развалится наш домик! – сказала она, смеясь и подавая мне руку.

Она показала мне прелестные зубы. Я сел рядом с ней на стул и рассказал ей о том, как неожиданно встретила на нашем пути гроза. Начался разговор о погоде – начале всех начал. Пока мы с ней беседовали, Митька уже успел два раза поднести графу водки и неразлучной с ней воды... Пользуясь тем, что я на него не смотрю, граф после обеих рюмок сладко поморщился и покачал головой.

– Вы, может быть, закусить желаете? – спросила меня Оленька и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты...

Первые капли застучали по стеклам... Я подошел к окну... Было уже совсем темно, и сквозь стекло я не увидел ничего, кроме ползущих вниз дождевых капель и отражения собственного носа. Блеснул свет от молнии и осветил несколько ближайших сосен...

– Двери заперты? – услышал я опять слабый тенор. – Митька, поди, подлая твоя душа, запри двери! Мучение мое, господи!

Баба с двойным, перетянутым животом и с глупым озабоченным лицом вошла в зал, низко поклонилась графу и покрыла стол белой скатертью. За ней осторожно двигался Митька, неся закуски. Через минуту на столе стояли водка, ром, сыр и тарелка с какой-то жареной птицей. Граф выпил рюмку водки, но есть не стал. Поляк недоверчиво понюхал птицу и принялся ее резать.

– Уже начался дождь! Поглядите! – сказал я вошедшей Оленьке.

Девушка в красном подошла к моему окну, и в это самое время нас осветило на мгновение белым сиянием... Раздался наверху треск, и мне показалось, что что-то большое, тяжелое сорвалось на небе с места и с грохотом покатилося на землю... Оконные стекла и рюмки, стоявшие перед графом, содрогнулись и издали свой стеклянный звук... Удар был сильный...

– Вы боитесь грозы? – спросил я Оленьку.

Та прижала щеку к круглому плечу и поглядела на меня детски доверчиво.

– Боюсь, – прошептала она, немного подумав. – Гроза убила у меня мою мать... В газетах даже писали об этом... Моя мать шла по полю и плакала... Ей очень горько жилось на этом свете... Бог сжалился над ней и убил ее своим небесным электричеством.

– Откуда вы знаете, что там электричество?

– Я училась... Вы знаете? Убитые грозой и на войне и умершие от тяжелых родов попадают в рай... Этого нигде не написано в книгах, но это верно. Мать моя теперь в раю. Мне кажется, что и меня убьет гроза когда-нибудь и что и я буду в раю... Вы образованный человек?

– Да...

– Стало быть, вы не будете смеяться... Мне вот как хотелось бы умереть. Одеться в самое дорогое, модное платье, какое я на днях видела на здешней богачке, помещице Шеффер, надеть на руки браслеты... Потом стать на самый верх Каменной Могилы и дать себя убить молнии так, чтобы все люди видели... Страшный гром, знаете, и конец...

– Какая дикая фантазия! – усмехнулся я, заглядывая в глаза, полные священного ужаса перед страшной, но эффектной смертью. – А в обыкновенном платье вы не хотите умирать?

– Нет... – покачала головой Оленька. – И так, чтобы все люди видели.

– Ваше теперешнее платье лучше всяких модных и дорогих платьев... Оно идет к вам. В нем вы похожи на красный цветок зеленого леса.

– Нет, это неправда! – наивно вздохнула Оленька. – Это платье дешевое, не может быть оно хорошим.

К нашему окну подошел граф с явным намерением поговорить с хорошенькой Оленькой. Мой друг говорит на трех европейских языках, но не умеет говорить с женщинами. Он как-то некстати постоял около нас, нелепо улыбнулся, промычал «мда» и отошел вспять, к графиню с водкой.

– Вы, когда входили сюда в комнату, – сказал я Оленьке, – пели «Люблю грозу в начале мая». Разве эти стихи переложены на песню?

– Нет, я пою по-своему все стихи, какие только знаю. Я случайно оглянулся назад. На нас глядел Урбенин. В глазах его я прочел ненависть, злобу, которые вовсе не идут к его доброму, мягкому лицу.

«Ревнует он, что ли?» – подумал я.

Бедняга, уловив мой вопросительный взгляд, поднялся со стула и пошел зачем-то в переднюю... Даже по его походке было заметно, что он был взволнован. Удары грома, один другого сильнее и раскатистее, стали повторяться все чаще и чаще... Молния непрерывно красила в свой приятный, ослепительный свет небо, и сосны, и мокрую почву... До конца дождя было еще далеко. Я отошел от окна к этажерке с книгами и занялся осмотром Оленькиной библиотеки. «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты», – но из добра, симметрично покоившегося на этажерке, трудно было вывести какое бы то ни было заключение об умственном уровне и «образовательном цензе» Оленьки. Тут была какая-то странная смесь. Три хрестоматии, одна книжка Борна, задачник Евтушевского, второй том Лермонтова, Шкляревский, журнал «Дело», поваренная книга, «Складчина»... Я мог бы насчитать вам еще более книг, но в то время, когда я взял с этажерки «Складчину» и начал ее перелистывать, дверь из другой комнаты отворилась, и в зал вошел субъект, сразу отвлекший мое внимание от Оленькиного образовательного ценза. Это был высокий жилистый человек в ситцевом халате и порванных

туфлях, с достаточно оригинальным лицом. Лицо его, исписанное синими жилочками, было украшено фельдфебельскими усами и бачками и в общем напоминало птичью физиономию. Все лицо было вытянуто вперед, словно стремилось к кончику носа... Такие лица называются, кажется, «кувшинными рылами». Маленькая головка этого субъекта сидела на длинной художавой шейке с большим кадыком и покачивалась, как скворечня на ветре... Странный человек обвел нас мутными, зелеными глазами и уставился на графа...

– Двери заперты? – спросил он умоляющим голосом.

Граф поглядел на меня и пожал плечами...

– Не беспокойся, папаша! – сказала Оленька. – Все заперто... Иди в свою комнату!

– А сарай заперт?

– Он немножко тово... трогается иногда, – шепнул Урбенин, показываясь из передней. – Бойтся воров и вот, как видите, все насчет дверей хлопочет... Николай Ефимыч, – обратился он к странному субъекту, – иди к себе в комнату и ложись спать! Не беспокойся, все заперто!

– А окна заперты?

Николай Ефимыч быстро обегал все окна, попробовал их запоры и, не взглянув на нас, зашаркал туфлями в свою комнату.

– Находит на него иногда, на беднягу, – начал пояснять по его уходе Урбенин. – Хороший, славный такой человек, знаете ли, семейный – и этакая напасть! Чуть ли не каждое лето в уме мешается...

Я посмотрел на Оленьку. Та конфузливо, спрятав от нас свое лицо, приводила в порядок свои потревоженные книги. Ей, по-видимому, стыдно было за своего сумасшедшего отца.

– А экипаж приехал, ваше сиятельство! – сказал Урбенин. – Можете ехать, если желаете!

– Откуда же этот экипаж взялся? – спросил я.

– Я посылал за ним...

Через минуту я сидел с графом в карете, слушал раскаты грома и злился...

– Выжил-таки нас из домика этот Петр Егорыч, черт его возьми! – ворчал я, не на шутку рассердясь. – Так и не дал разглядеть эту Оленьку! Я не съел бы ее у него... Старый дурак! Все время от ревности лопался... Он влюблен в эту девочку...

– Да, да, да... Представь, и я это заметил! И не впускал он нас в домик только из ревности и за экипажем послал из ревности... Ха-ха!

– Седина в бороду, а бес в ребро... Впрочем, брат, трудно не влюбиться в эту девушку в красном, видя ее каждый день такой, какой мы ее сегодня видели! Чертовски хорошенькая! Только не по его рылу она... Он должен это понимать и не ревновать так эгоистически... Люби, но не мешай и другим, тем более, что знаешь, что она не про тебя писана... Этакий ведь старый болван!

– Помнишь, как он вскипел, когда Кузьма за чаем упомянул ее имя? – хихикнул граф. – Я думал, что он всех нас побьет тогда... Так горячо не заступаются за честное имя женщины, к которой равнодушны...

– Заступаются, брат... Но дело не в этом... Важно вот что... Если он нами так командовал сегодня, то что выделяет он с маленькими людьми, с теми, которые находятся в его распоряжении! Небось, ключникам, экономам, охотникам и прочим малым мира сего и подступиться к ней не дает! Любовь и ревность делают человека несправедливым, бессердечным, человеко-ненавистником... Держу пари, что он заел уж из-за этой Оленьки не одного служащего под его начальством. Умно поэтому сделаешь, если будешь давать поменьше веры его жалобам на служащих и докладам о необходимости изгнания того или другого. Вообще на время ограничь его власть... Любовь пройдет – ну, тогда нечего будет бояться. Он добрый и честный малый...

– А как тебе нравится ее папенька? – засмеялся граф.

– Сумасшедший... Ему нужно в сумасшедшем доме сидеть, а не лесами заведовать... Вообще не солжешь, если на воротах своей усадьбы повесишь вывеску: «Сумасшедший дом»...

У тебя здесь настоящий бедлам! Лесничий этот, Сычиха, Франц, помешанный на картах, влюбленный старик, экзальтированная девушка, спившийся граф... чего лучше?

– А ведь этот лесничий жалование получает! Как же он служит, если он сумасшедший?

– Очевидно, Урбенин держит его только из-за дочери... Урбенин говорит, что на Николая Ефимыча находит почти каждое лето... Но это едва ли... Не каждое лето, а постоянно болен этот лесничий... К счастью, твой Петр Егорыч редко лжет и выдает себя, если соврет что-нибудь...

– В прошлом году Урбенин уведомлял меня, что старый лесничий Ахметьев едет в монахи на Афон, и рекомендовал мне «опытного, честного и заслуженного» Скворцова... Я, конечно, дал согласие, как и всегда его даю. Письма ведь не лица: не выдают себя, если лгут.

Карета въехала во двор и остановилась у подъезда. Мы вышли из нее. Дождь уже прошел. Громовая туча, сверкая молниями и издавая сердитый ропот, спешила на северо-восток, все более и более открывая голубое, звездное небо. Казалось, тяжело вооруженная сила, производя опустошения и взявши страшную дань, стремилась к новым победам... Отставшие тучки гнались за ней и спешили, словно боялись не догнать... Природа получала обратно свой мир...

И этот мир чудился в тихом ароматном воздухе, полном неги и соловьиных мелодий, в молчании спящего сада, в ласкающем свете поднимающейся луны... Озеро проснулось после дневного сна и легким ворчаньем давало знать о себе человеческому слуху...

В такое время хорошо кататься по полю в покойной коляске или работать на озере веслами... Но мы пошли в дом... Там нас ожидала иного рода «поэзия».

Самоубийцей называется тот, кто, под влиянием психической боли или угнетаемый невыносимым страданием, пускает себе пулю в лоб; для тех же, кто дает волю своим жалким, опошляющим душу страстям в святые дни весны и молодости, нет названия на человеческом языке. За пулей следует могильный покой, за погубленной молодостью следуют годы скорби и мучительных воспоминаний. Кто профанировал свою весну, тот понимает теперешнее состояние моей души. Я еще не стар, не сед, но я уже не живу. Психиатры рассказывают, что один солдат, раненный при Ватерлоо, сошел с ума и впоследствии уверял всех и сам в то верил, что он убит при Ватерлоо, а что то, что теперь считают за него, есть только его тень, отражение прошлого. Нечто похожее на эту полусмерть переживаю теперь и я...

– Я очень рад, что ты ничего не ел у лесничего и не испортил себе аппетита, – сказал мне граф, когда мы вошли в дом. – Мы отлично поужинаем... по-старому... Подавать! – приказал он Илье, стаскивавшему с него сюртук и надевавшему халат.

Мы отправились в столовую. Тут, на сервированном столе, уже «кипела жизнь». Бутылки всех цветов и всевозможного роста стояли рядами, как на полках в театральных буфетах, и, отражая в себе ламповый свет, ждали нашего внимания. Соленая, маринованная и всякая другая закуска стояла на другом столе с графином водки и английской горькой. Около же винных бутылок стояли два блюда: одно с поросенком, другое с холодной осетриной...

– Ну-с... – начал граф, наливая три рюмки и пожимаясь, как от холода. – Будем здоровы! Бери свою рюмку, Каэтан Казимирович!

Я выпил, поляк же отрицательно покачал головой. Он придвинул к себе осетрину, понюхал ее и начал есть.

Прошу извинения у читателя. Сейчас мне придется описывать совсем не «романтическое».

– Ну-с... они выпили по другой, – сказал граф, наливая вторые рюмки. – Дерзай, Лекок!

Я взял свою рюмку, поглядел на нее и поставил...

– Черт возьми, давно уже я не пил, – сказал я. – Не вспомнить ли старину? – И, не долго думая, я налил пять рюмок и одну за другой опрокинул себе в рот. Иначе я не умел пить. Маленькие школьники учатся у больших курить папиросы: граф, глядя на меня, налил себе пять рюмок и, согнувшись дугой, сморщившись и качая головой, выпил их. Мои пять рюмок

показались ему ухарством, но я пил вовсе не для того, чтобы прихвастнуть талантом пить... Мне хотелось опьянения, хорошего, сильного опьянения, какого я давно уже не испытывал, живя у себя в деревеньке. Выпивши, я сел за стол и принялся за поросенка...

Опьянение не заставило долго ждать себя. Скоро я почувствовал легкое головокружение. В груди заиграл приятный холодок – начало счастливого, экспансивного состояния. Мне вдруг, без особенно заметного перехода, стало ужасно весело. Чувство пустоты, скуки уступило свое место ощущению полного веселья, радости. Я начал улыбаться. Захотелось мне вдруг болтовни, смеха, людей. Жуя поросенка, я стал чувствовать полноту жизни, чуть ли не самое удовольствие жизнью, чуть ли не счастье.

– Отчего же вы ничего не выпьете? – обратился я к поляку.

– Он ничего не пьет, – сказал граф. – Ты не принуждай его.

– Но все-таки хоть что-нибудь да пьете же!

Поляк положил себе в рот большой кусок осетрины и отрицательно покачал головой. Молчание его меня подзадорило.

– Послушайте, Каэтан... как вас по батюшке... отчего вы все молчите? – спросил я его. – Я не имел еще удовольствия слышать вашего голоса.

Две брови его, похожие на летящую ласточку, поднялись, и он поглядел на меня.

– А вам желательно, чтоб я говорил? – спросил он с сильным польским акцентом.

– Весьма желательно.

– А на что вам?

– Помилуйте! На пароходах за обедом чужие и незнакомые люди поднимают между собой разговор, а мы с вами знакомы уже несколько часов, рассматриваем друг друга и не проговорили между собой еще ни одного слова! На что это похоже?

Поляк молчал.

– Отчего же вы молчите? – спросил я, обождав немного. – Ответьте что-нибудь!

– Я не желаю отвечать вам. В вашем голосе я слышу смех, а я не люблю насмешек.

– Он нисколько не смеется! – встревожился граф. – Откуда это ты взял, Каэтан? Он дружески...

– Со мной графы и князья не говорили таким тоном! – сказал Каэтан, хмурясь. – Я не люблю такого тона.

– Стало быть, не удостоите беседой? – продолжал я приставать, выпивая еще рюмку и смеясь.

– Знаешь, зачем собственно я приехал сюда? – перебил граф, желая переменить разговор. – Я тебе не говорил еще об этом? Прихожу я в Петербурге к одному знакомому доктору, у которого я лечусь постоянно, и жалуюсь на свою болезнь. Он выслушал, выстукал, ощупал, знаешь ли, всего и говорит: «Вы не трус?» Я хоть не трус, но, знаешь, побледнел: «Не трус», – говорю.

– Короче, брат... Надоело.

– Предсказал скорую смерть, если я не оставлю Петербурга и не уеду! У меня вся печень испорчена от долгого питья... Я и решил ехать сюда. Да и глупо там сидеть... Здесь именно такое роскошное, богатое... Климат один чего стоит!.. Делом, по крайней мере, можно заняться! Труд самое лучшее, самое радикальное лекарство. Не правда ли, Каэтан? Займусь хозяйством и брошу пить... Доктор не велел мне ни одной рюмки... ни одной!

– Ну, и не пей.

– Я и не пью... Сегодня в последний раз, ради свидания с тобой (граф потянулся ко мне и чмокнул меня в щеку)... с моим милым, хорошим другом, завтра же – ни капли! Бахус прощается сегодня со мной навеки... На прощанье, Сережа, коньячку... выпьем?

Мы выпили коньяку.

– Вылечусь, Сережа-голубчик, и займусь хозяйством... Рациональным хозяйством! Урбенин – добрый, милый... понимает все, но разве он хозяин? Он рутинер! Надо журналы выписывать, читать, следить за всем, участвовать на сельскохозяйственных выставках, а он необразован для этого! В Оленьку... неужели он влюблен? Ха-ха! Я сам займусь, а его помощником своим сделаю... В выборах буду участвовать, общество веселить... а? Ведь и тут можно счастливо прожить! Ты как думаешь? Ну, вот ты уж и смеешься! Уж и смеешься! Право, с тобой нельзя ни о чем говорить!

Мне было весело, смешно. Смешил меня граф, смешили свечи, бутылки, лепные зайцы и утки, украшавшие стены столовой... Не смешила меня одна только трезвая физиономия Казтана Казимировича. Присутствие этого человека раздражало меня.

– Нельзя ли этого шляхтича к черту? – шепнул я графу.

– Что ты! Ради бога... – залепетал граф, хватая меня за обе руки, словно я собирался колотить его поляка. – Пусть себе сидит!

– Но я не могу его видеть! Послушайте! – обратился я к Пшехоцкому. – Вы отказались со мной говорить, но, простите меня, я не потерял еще надежды покороче познакомиться с вашей разговорной способностью...

– Оставь! – дернул меня граф за рукав. – Умоляю!

– Я буду приставать к вам до тех пор, пока вы не станете отвечать мне, – продолжал я. – Что вы хмуритесь? Нешто и теперь слышите в моем голосе смех?

– Если б я выпил столько, сколько вы, то я стал бы с вами разговаривать, а то мы с вами не пара... – проворчал поляк.

– Мы с вами не пара, что и требовалось доказать... Я хотел сказать именно то же самое... Гусь свинье не товарищ, пьяный трезвому не родня... Пьяный мешает трезвому, трезвый пьяному. В соседней гостиной есть отличные мягкие диваны! На них хорошо полежать после осетринки с хреном. Туда не слышен мой голос. Не желаете ли вы туда отправиться?

Граф всплеснул руками и, мигая глазами, заходил по столовой.

Он трус и боится «крупных» разговоров... Меня же, когда я бывал пьян, тешили недоумения и неудовольствия...

– Я не понимаю! Я не понимаю! – простонал граф, не зная, что сказать и что предпринять...

Он знал, что меня трудно было остановить.

– Я с вами еще мало знаком, – продолжал я, – может быть, вы прекраснейший человек, а потому мне и не хотелось бы с вами спозаранку ссориться... Я не ссорюсь с вами... Я приглашаю вас только понять, что трезвым не место среди пьяных... Присутствие трезвого действует раздражающе на пьяный организм!.. Поймите вы это!

– Говорите, что вам угодно! – вздохнул Пшехоцкий. – Меня ничем не примете, молодой человек...

– Будто бы ничем? А если я назову вас упрямой свиньей, вы тоже не обидитесь?

Поляк покраснел – и только. Граф, бледный, подошел ко мне, сделал умоляющее лицо и развел руками.

– Ну, прошу тебя! Умерь свой язык!

Я вошел уже в свою пьяную роль и хотел продолжать, но на счастье графа и поляка послышались шаги и в столовую вошел Урбенин.

– Приятного аппетита! – начал он. – Я пришел узнать, ваше сиятельство, не будет ли каких приказаний?

– Приказаний пока нет, а просьба есть... – отвечал граф. – Очень рад, что вы пришли, Петр Егорыч... Садитесь с нами ужинать и давайте толковать о хозяйстве...

Урбенин сел. Граф выпил коньяку и начал излагать ему план своих будущих действий в области рационального хозяйства. Говорил он долго, утомительно, то и дело повторяясь и

меняя тему. Урбенин слушал его, как серьезные люди слушают болтовню детей и женщин, лениво и внимательно... Он ел ершовую уху и печально глядел в свою тарелку.

– Я привез с собой прекрасные чертежи! – сказал, между прочим, граф. – Замечательные чертежи! Хотите, я вам покажу?

Карнеев вскочил и побежал к себе в кабинет за чертежами. Урбенин, пользуясь его отсутствием, быстро налил себе пол чайного стакана водки, выпил и не закусил.

– Противная эта водка! – сказал он, глядя с ненавистью на графин.

– Отчего вы при графе не пьете, Петр Егорыч? – спросил я его. – Неужто вы боитесь?

– Лучше, Сергей Петрович, лицемерить и пить тайком, чем пить при графе. Вы знаете, у графа странный характер... Украдь я у него заведомо двадцать тысяч, он ничего, по своей беспечности, не скажет, а забудь я дать ему отчет в потраченном гривеннике или выпей при нем водки, он нач нет плакаться, что у него разбойник-управляющий. Вы его хорошо знаете.

Урбенин налил себе еще полстакана и выпил.

– Вы, кажется, прежде не пили, Петр Егорыч, – сказал я.

– Да, а теперь пью... Ужасно пью! – шепнул он. – Ужасно, день и ночь, не давая себе ни минуты отдыха! И граф никогда не пил в такой мере, в какой я теперь пью... Ужасно тяжело, Сергей Петрович! Одному только Богу ведомо, как тяжело у меня на сердце! Уж именно, что с горя пью... Я вас всегда любил и уважал, Сергей Петрович, и откровенно вам скажу... повеситься рад бы!

– Отчего же это?

– Глупость моя... Не одни только дети бывают глупы... Бывают дураки и в пятьдесят лет. Причин не спрашивайте.

Вошел граф и прекратил его излияния.

– Отличнейший ликер! – сказал он, ставя на стол вместо «замечательных» чертежей пузатую бутылку с сургучной печатью бенедиктинцев. – Проездом через Москву у Депре взял. Не желаешь ли, Сережа?

– Ты ведь, кажется, за чертежами ходил! – сказал я.

– Я? За какими чертежами? Ах, да! Но, брат, сам черт ничего не разберет в моих чемоданах... Рылся-рылся и бросил... Ликер очень мил. Не хочешь ли?

Урбенин посидел еще немного, простился и вышел. По уходе его мы принялись за красное. Это вино окончательно меня разобрало. Получилось опьянение, какого я именно и хотел, когда ехал к графу. Я стал чрезмерно бодр душою, подвижен, необычайно весел. Мне захотелось подвига неестественного, смешного, пускающего пыль в глаза... В эти минуты, мне казалось, я мог бы переплыть все озеро, открыть самое запутанное дело, победить любую женщину... Мир с его жизнями приводил меня в восторг, я любил его, но в то же время хотелось придирается, жечь ядовитыми остротами, издеваться...

Смешного чернобрового поляка и графа нужно было осмеять, заездить едкой остротой, обратить в порошок.

– Что же вы молчите? – начал я. – Говорите, я слушаю вас! Ха-ха! Я ужасно люблю, когда люди с серьезными, солидными физиономиями говорят детскую чушь!.. Это такая насмешка, такая насмешка над человеческими мозгами!.. Лица не соответствуют мозгам! Чтобы не лгать, надо иметь идиотскую физиономию, а у вас лица греческих мудрецов!

Я не кончил... Язык у меня запутался от мысли, что я говорю с людьми ничтожными, не стоящими и полуслова! Мне нужна была зала, полная людей, блестящих женщин, тысячи огней... Я поднялся, взял свой стакан и пошел ходить по комнатам. Когда мы кутим, мы не стесняем себя пространством, не ограничиваемся одной только столовой, а берем весь дом и часто даже всю усадьбу...

В «мозаиковой» гостиной я выбрал себе турецкую софу, лег на нее и отдал себя во власть фантазий и воздушных замков. Мечты пьяные, но одна другой грандиознее и безграничнее,

охватили мой молодой мозг... Получился новый мир, полный одуряющей прелести и не поддающихся описанию красот.

Недоставало только, чтоб я заговорил рифмами и стал видеть галлюцинации.

Граф подошел ко мне и сел на край софы... Ему хотелось что-то сказать мне. Это желание сообщить мне что-то особенное я начал читать в его глазах уже вскоре после вышеописанных пяти рюмок. Я знал, о чем он хотел говорить...

– Как я много выпил сегодня! – сказал он мне. – Это для меня вреднее всякого яда... Но сегодня в последний раз... Честное слово, в последний раз... У меня есть воля...

– Ладно, ладно...

– В последний... Сережа, друг, в последний раз не послать ли в город телеграмму?

– Пожалуй, пошли...

– Кутнем уж в последний раз как следует... Ну, встань же, напиши... – Сам граф не умеет писать телеграмм. У него выходят слишком длинные и неполны. Я поднялся и написал:

«С... Ресторан „Лондон“. Содержателю хора Карпову. Оставить все и ехать немедленно с двухчасовым поездом. Граф».

– Теперь без четверти одиннадцать, – сказал граф. – Человек будет скакать до станции три четверти часа, максимум час... Телеграмму получит Карпов в первом часу... На поезд, стало быть, успеет... Если на этот не поспеет, то приедет с товарным... Да?

Телеграмма была послана с одноглазым Кузьмой... Илье было приказано, чтобы через час были посланы экипажи на станцию... Я, чтоб убить чем-нибудь время, начал медленно зажигать лампы и свечи во всех комнатах, затем отпер рояль и попробовал клавиши...

Затем, помню, я лежал на той же софе, ни о чем не думал и молча отстранял рукой пристававшего с разговорами графа... Был я в каком-то забытии, полудремоте, чувствуя только яркий свет ламп и веселое, покойное настроение... Образ девушки в красном, склонившей головку на плечо, с глазами, полными ужаса перед эффектной смертью, постоял передо мной и тихо погрозил мне маленьким пальцем... Образ другой девушки, в черном платье и с бледным, гордым лицом, прошел мимо и поглядел на меня не то с мольбой, не то с укоризной.

Далее я слышал шум, смех, беготню... Черные, глубокие глаза заслонили мне свет. Я видел их блеск, их смех... На сочных губах играла радостная улыбка... То улыбалась моя цыганка Тина...

– Это ты? – спросил ее голос. – Ты спишь? Вставай, милый... Я давно уже тебя не видела...

Я молча пожал ей руку и привлек ее к себе...

– Пойдем же туда... Все наши приехали...

– Останься... Мне тут хорошо, Тина...

– Но... здесь много света... Ты сумасшедший... Могут войти...

– Кто войдет, тому я сверну шею... Мне хорошо, Тина... Два года уже прошло, как я тебя не видел...

В зале заиграли на рояле.

Ах, Москва, Москва, Москва... белокаменная...

– заорало несколько голосов...

– Видишь, они все поют там... Никто не войдет...

– Да, да...

Свидание с Тиной вывело меня из забытия... Через десять минут она ввела меня в залу, где полукругом стоял хор... Граф сидел верхом на стуле и отбивал руками такт... Пшехоцкий стоял позади его стула и удивленными глазами глядел на певчих птиц... Я вырвал из рук Карпова его балалайку, махнул рукой и затянул...

Вниз по ма-а-атушке... па-а-а Во-о-о... Па-а В-о-о-о-лге... – подхватил хор...

Ай, жги, говори... говори...

Я махнул рукой, и мгновенно, с быстротой молнии наступил новый переход...
Ночи безумные, ночи веселые...

Ничто так раздражающе и щекочуще не действует на мои нервы, как подобные резкие переходы. Я задрожал от восторга и, охватив Тину одной рукой, а другой махая в воздухе балалайкой, допел до конца «Ночи безумные»... Балалайка с треском ударилась о пол и разлетелась на мелкие щепки...

– Вина!

Далее мои воспоминания приближаются к хаосу... Все перемешалось, спуталось, все мутно, неясно... Помню я серое небо раннего утра... Мы едем на лодках... Озеро слегка волнуется и словно ворчит, глядя на наши дебоширства... Я стою посредине лодки и качаюсь... Тина уверяет меня, что я могу упасть в воду, и просит сесть... Я же громко изъявляю сожаление, что на озере нет таких высоких волн, как Каменная Могила, и пугаю своим криком мартынов, мелькающих белыми пятнами на синей поверхности озера. Далее следует длинный жаркий день с его нескончаемыми завтраками, десятилетними наливками, пуншами, дебошем... Из этого дня я помню только несколько моментов... Я помню себя качающимся с Тиной в саду на качелях. Я стою на одном конце доски, она на другом. Я работаю всем своим туловищем с ожесточением, насколько хватает у меня сил, и сам не знаю, что именно мне нужно: чтобы Тина сорвалась с качелей и убилась или же чтоб она взлетела под самые облака? Тина стоит бледная как смерть, но, гордая и самолюбивая, она стиснула зубы, чтобы ни одним звуком не выдать своего страха. Мы взлетаем все выше и выше и... не помню, чем кончилось. Далее следует прогулка с Тиной в далекую аллею с зеленым сводом, скрывающим от солнца. Поэтический полумрак, черные косы, сочные губы, шепот... Затем рядом со мной идет маленькое контраalto, блондинка с острым носиком, детскими глазками и очень тонкой талией. Я гуляю с ней до тех пор, пока Тина, проследив нас, не делает мне сцены... Цыганка бледна, взбешена... Она называет меня «проклятым» и, обиженная, собирается уехать в город. Граф, бледный, с дрожащими руками, бежит около нас и, по обыкновению, не находит слов, чтоб уговорить Тину остаться... Та в конце концов дает мне пощечину... Странно: я прихожу в бешенство от малейшего, едва оскорбительного слова, сказанного женщиной, и совершенно индифферентен к пощечинам, которые дают мне женщины... Опять длинное «после обеда», опять змея на лестнице, опять спящий Франц с мухами около рта, опять калитка... Девушка в красном стоит на Каменной Могиле, но, заведя нас, исчезает, как ящерица.

К вечеру мы опять друзья с Тиной. За вечером следует та же буйная ночь, с музыкой, залихватским пением, с щекочущими нервы переходами... и ни одной минуты сна!

– Это самоистребление! – шепнул мне Урбенин, зашедший на минутку послушать наше пение...

Он, конечно, прав. Далее, помню, я и граф стоим в саду друг против друга и спорим. Около нас прохаживается чернобровый Каэтан, все время не принимавший никакого участия в нашем веселье, но, тем не менее, не спавший и ходивший все время за нами, как тень... Небо уже бело, и на верхушке самого высокого дерева уже начинают золотиться лучи восходящего солнца. Кругом возня воробьев, пенье скворцов, шелест, хлопанье отяжелевших за ночь крыльев... Слышно мычанье стада и крики пастухов. Около нас столик с мраморной доской. На столике свеча Шандора с бледным огнем. Окурки, бумажки от конфет, разбитые рюмки, апельсиновые корки...

– Ты должен это взять! – говорю я, подавая графу пачку кредитных билетов. – Я заставлю тебя взять!

– Ведь я же их приглашал, а не ты! – убеждает граф, стараясь уловить мою пуговицу. – Я здесь хозяин... я угощал тебя, – с какой же стати тебе платить? Пойми, что ты даже оскорбляешь меня этим!

– Я тоже нанимал их, потому плачу половину. Не берешь? Не понимаю этого одолжения! Неужели ты думаешь, что если ты богат, как дьявол, то имеешь право делать мне такие одолжения? Черт возьми, я нанимал Карпова, я ему и заплачу! Не нужно твоей половины! Я писал телеграмму!

– В ресторане, Сережа, ты можешь платить, сколько тебе угодно, в моем же доме не ресторан... И потом я решительно не понимаю, из-за чего ты хлопчешь, не понимаю твоей прыти. У тебя мало денег, у меня же добра этого куры не клюют... Сама справедливость на моей стороне!

– Так ты не возьмешь? Нет? Не нужно...

Я подношу к бледному огню Шандора кредитные бумажки, зажигаю их и бросаю на землю. Из груди Каэтана вдруг вырывается стон. Он делает большие глаза, бледнеет и падает своим тяжелым телом на землю, стараясь затушить ладонями огонь на деньгах... Это ему удастся.

– Я не понимаю! – говорит он, кладя в карман обожженные кредитки. – Жечь деньги?! Словно это прошлогоднее полово или любовные письма... Лучше я бедному отдам кому-нибудь, чем отдавать их огню.

Я иду в дом... Там во всех комнатах, на диванах и коврах, спят вразвалку изнеможенные, заезженные певцы... Моя Тина спит на софе в «мозаиковой» гостиной...

Она раскинулась и тяжело дышит... Зубы ее стиснуты, лицо бледно... Вероятно, ей снятся качели... По всем комнатам ходит Сычиха и злобно поглядывает своими острыми глазками на людей, так внезапно нарушивших мертвую тишину забытой усадьбы... Она не даром ходит и утруждает свои старые кости...

Вот все то, что осталось в моей памяти после двух диких ночей, остальное же не удержалось в пьяных мозгах или же неудобно для описания... Но довольно и этого!..

Никогда в другое время Зорька не несла меня с таким усердием, как в утро после сожжения кредиток... Ей тоже хотелось домой... Озеро тихо катило свои пенящиеся волны и, отражая в себе поднимающееся солнце, готовилось к дневному сну... Леса и прибрежные ивы стояли недвижимо, словно на утренней молитве... Трудно описать тогдашнее состояние моей души... Много не распространяясь, скажу только, что я несказанно обрадовался и в то же время чуть не сгорел со стыда, когда при повороте от графской усадьбы увидел на берегу старое, изможденное честным трудом и болезнями, святое лицо старика Михея... Михей своею наружностью напоминает библейских рыболовов... Он сед, как лунь, бородат и созерцательно глядит на небо... Когда он стоит неподвижно на берегу и следит взором за бегущими облаками, то можно подумать, что он видит в небе ангелов... Я люблю такие лица...

Увидев его, я осадил свою Зорьку и подал ему руку, как бы желая очиститься прикосновением к его честной мозолистой руке... Он поднял на меня свои маленькие прозорливые глаза и усмехнулся.

– Здравствуй, хороший барин! – сказал он, неумело подавая мне руку. – Что опять заскакал? Аль тот лодырь приехал?

– Приехал.

– То-то... по лику вижу... А я стою вот тут и гляжу... Мир и есть мир. Суета сует... Взглянь-ка! Немцу помирать надо, а он о суете заботится... Видишь?

Старик указал палкой на графскую купальню. От купальни быстро плыла лодка. В ней сидел человек в жокейском картузике и синей куртке. То был садовник Франц.

– Каждое утро на остров деньги возит и прячет... Нет у глупого понятия в голове, что для него что песок, что деньги – одна цена... Умрет – не возьмет с собой. Дай, барин, сигарку!

Я подал ему портсигар. Он взял три папироски и сунул их за пазуху.

– Это я племяннику... Пушай покурит.

Нетерпеливая Зорька задвигалась и полетела. Я поклонился старику, благодарный, что он дал моим глазам отдохнуть на его лице. Он долго глядел мне вслед.

Дома встретил меня Поликарп... Презрительным, сокрушающим взглядом он измерил мое барское тело, словно желая узнать, купался ли я на этот раз во всем костюме или нет?

– Поздравляем! – проворчал он. – Получил удовольствие!

– Молчи, дурак! – сказал я.

Меня злила его глупая физиономия. Быстро раздевшись, я укрылся одеялом и закрыл глаза.

Голова закружилась, и мир окутался туманом. В тумане промелькнули знакомые образы... Граф, змея, Франц, собаки огненного цвета, девушка в красном, сумасшедший Николай Ефимыч.

– Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы! Девушка в красном погрозила мне пальцем, Тина заслонила мне свет своими черными глазами и... я уснул...

– Как сладко и безмятежно он спит! Глядя на это бледное, утомленное лицо, на эту невинно-детскую улыбку и прислушиваясь к этому ровному дыханию, можно подумать, что здесь на кровати лежит не судебный следователь, а сама спокойная совесть! Можно подумать, что граф Карнеев еще не приехал, что не было ни пьянства, ни цыганок, ни скандалов на озере... Вставайте, ехиднейший человек! Вы не стоите, чтобы пользоваться таким благом, как покойный сон! Поднимайтесь!

Я открыл глаза и сладко потянулся... От окна до моей кровати шел широкий солнечный луч, в котором, гоняясь одна за другой и волнуясь, летали белые пылинки, отчего и сам луч казался подернутым матовой белизной... Луч то исчезал с моих глаз, то опять появлялся, смотря по тому, входил ли в область луча или выходил из нее шагавший по моей спальне наш милейший уездный врач Павел Иванович Вознесенский. В длинном расстегнутом сюртуке, болтающемся на нем, как на вешалке, заложив руки в карманы своих необыкновенно длинных брюк, доктор ходил из угла в угол, от стула к стулу, от портрета к портрету и шурил свои близорукие глаза на все, что только попадалось на пути его взгляду. Покорный своей привычке совать свой нос и запускать «глазенапа» всюду, где только возможно, – он, то нагибаясь, то сильно вытягиваясь, заглядывал в рукомойник, в складки опущенной сторы, в дверные щели, в лампу... словно искал чего-то или желал удостовериться, все ли цело... Вглядываясь пристально сквозь очки в какую-нибудь щель или пятно на обоях, он хмурился, принимал озабоченное выражение, нюхал своим длинным носом, старательно скоблил ногтем... Все это проделывал он машинально, бессознательно и по привычке, но, тем не менее, быстро перебегая глазами с одного предмета на другой, он имел вид знатока, производящего экспертизу.

– Поднимайтесь, вам говорят! – будил он меня своим певучим тенором, заглядывая в мыльницу и снимая с мыла ногтем волосок.

– А... а... а... здравствуйте, господин щур! – зевнул я, увидев его, нагнувшегося над рукомойником. – Сколько зим, сколько лет!

Весь уезд дразнит доктора «щуром» за его вечно прищуренные глаза; дразнил и я. Увидев, что я проснулся, Вознесенский подошел ко мне, сел на край кровати и тотчас же потянул к своим прищуренным глазам коробку со спичками...

– Так спят одни только лентяи да люди со спокойною совестью, – сказал он, – а так как вы ни то, ни другое, то вам подобало бы, друже, вставать немножко пораньше...

– А который теперь час?

– Одиннадцатый на исходе.

– Черт вас возьми, щуренька! Никто не просил вас будить меня так рано! Вы знаете, я уснул сегодня только в шестом часу, и если бы не вы, то проспал бы до вечера.

– Так! – услышал я из соседней комнаты бас Поликарпа. – Мало он еще спал! Вторые сутки спит, и все ему мало! Да вы знаете, какой сегодня день? – спросил Поликарп, входя в спальную и глядя на меня так, как умные глядят на дураков.

– Среда, – сказал я.

– Как же, беспрерывно. Нарочно для вас так и сделали, чтобы в неделе две среды было...

– Сегодня четверг! – сказал доктор. – Так это, голубчик, вы изволили всю среду проспять? Мило! очень мило! Сколько же это вы выпили, позвольте вас спросить?

– Я двое суток не спал, а выпил... не помню, сколько я выпил.

Уславши Поликарпа, я начал одеваться и описывать доктору пережитые мною так недавно «ночи безумные, речи бессвязные», которые так хороши и чувствительны в романах и так безобразны на деле. В своих описаниях я старался не выходить из пределов «легкого жанра», держаться фактов и не вдаваться в мораль, хотя все это и противно натуре человека, питающего страсть к итогам и выводам... Я говорил и делал вид, что говорю о пустяках, нимало меня не тревожащих. Щадя целомудрие Павла Ивановича и зная его отвращение к графу, я многое скрыл, многого коснулся только слегка, но, тем не менее, несмотря даже на игривость моего тона, на карикатурный пошиб моей речи, доктор во все время моего рассказа глядел мне в лицо серьезно, то и дело покачивая головой и нетерпеливо подергивая плечами. Он ни разу не улыбнулся... Очевидно, мой «легкий жанр» произвел на него далеко не легкое впечатление.

– Что же вы не смеетесь, шуренька? – спросил я, покончив со своими описаниями...

– Если бы все это не вы мне рассказывали и если бы не один случай, то я не поверил бы всему этому. Уж больно безобразно, друже!

– О каком случае вы говорите?

– Вчера под вечер был у меня мужик, которого вы так неделикатно попотчевали веслом... Иван Осипов...

– Иван Осипов... – пожал я плечами. – Первый раз слышу!

– Высокий такой, рыжий... с веснушками на лице... Припомните-ка! Вы ударили его веслом по голове.

– Ничего не понимаю! Никакого Осипова не знаю, веслом никого не потчевал... Все это вам снилось, дядя!

– Дай бог, чтобы снилось... Он явился ко мне с отношением от карнеевского волостного правления и попросил медицинского свидетельства... В отношении написано, да и сам он не врет, что рана нанесена ему вами... И теперь не помните? Рана ушибленная, повыше лба, на границе с волосистой частью... До кости хватили, батенька!

– Не помню! – прошептал я. – Кто он? Чем занимается?

– Обыкновенный карнеевский мужик, у вас же там на озере был гребцом, когда вы кутили...

– Гм... может быть! Не помню... Вероятно, был пьян и как-нибудь нечаянно...

– Нет-с, не нечаянно... Он говорит, что вы рассердились на него за что-то, долго брались и потом, рассвирепев, подскочили к нему и при свидетелях хватили... Мало того, вы крикнули: «Я убью тебя, шельму этакую!..»

Я покраснел и прошелся из угла в угол.

– Хоть убей, не помню! – проговорил я, изо всех сил напрягая память. – Не помню! Вы говорите «рассвирепев»... В пьяном виде я бываю непростительно мерзок!

– Чего же лучше!

– Мужик, очевидно, хочет затеять скандал, но не это важно... Важен сам факт, побои... Неужели я способен драться? И за что я ударил бедного мужика?

– Да-с... Свидетельства, конечно, я не мог ему не дать, но не преминул посоветовать ему обратиться к вам. Вы сойдитесь с ним как-нибудь... Побои легкие, но, рассуждая неофициально, рана головы, проникающая до черепа, штука серьезная... Нередки случаи, когда, по-

видимому, самая пустая рана головы, отнесенная к легким побоям, оканчивалась омертвлением костей черепа и, стало быть, путешествием *ad patres*³.

И «щур», увлекшись, поднялся, зашагал около стен и, размахивая руками, начал выкладывать передо мною свои познания по хирургической патологии... Омертвление костей черепа, воспаление мозга, смерть и другие ужасы так и сыпались из его рта с бесконечными объяснениями макроскопических и микроскопических процессов, сопровождающих эту туманную и неинтересную для меня *terram incognitam*⁴.

– Будет вам, барабошка! – остановил я его медицинскую болтовню. – Неужели вы не знаете, как все это скучно?

– Это ничего, что скучно... Вы слушайте и казнитесь... Авось в другой раз будете поосторожней и не станете делать ненужных глупостей... Из-за этого паршивца Осипова, если вы с ним не сойдетесь, вы можете место потерять! Жрецу Фемиды судиться за побои... ведь это скандал!

Павел Иванович – единственный человек, сентенции которого я выслушиваю с легкой душою, не морщась, которому дозволяется вопросительно заглядывать в мои глаза и запускать исследующую руку в дебри моей души... Мы с ним приятели в самом лучшем смысле этого слова и уважаем друг друга, хотя у нас с ним и существуют счеты неприятного, щекотливого свойства... Между мною и им, как черная кошка, прошла женщина. Этот вечный *casus belli*⁵ породил между нами счеты, но не поссорил нас, и мы продолжаем быть в мире. «Щур» – очень хороший малый... Я люблю его простое, далеко не пластическое лицо с большим носом, прищуренными глазами и жидкой рыжей бородкой. Я люблю его высокую, тонкую, узкоплечую фигуру, на которой сюртуки и пальто болтаются, как на вешалке.

Его уродливо сшитые брюки собираются безобразными складками у колен и безбожно топчутся сапогами; его белый галстук вечно сидит не на месте... Но вы не подумайте, что он неряха... Взглянувши раз на его доброе, сосредоточенное лицо, вы поймете, что ему некогда хлопотать о своей наружности, да и не умеет он... Он молод, честен, не суетен, любит свою медицину, вечно в разъездах, – этого достаточно, чтобы объяснить в его пользу все промахи его незатейливого туалета. Он, как артист, не знает цены деньгам и невозмутимо жертвует своим комфортом и благами жизни кое-каким своим страстишкам, и оттого-то он дает впечатление человека неимущего, еле сводящего концы с концами... Он не курит, не пьет, не платит женщинам, но, тем не менее, две тысячи, которые вырабатывает он службой и практикой, уходят от него так же быстро, как уходят у меня мои деньги, когда я переживаю период кутежа. Две страсти обирают его: страсть давать займы и страсть *выписывать* по газетным объявлениям... Займы дает он всякому просящему, не говоря ни слова и не заикаясь об обратной получке... Никаким гвоздем не выковыришь из него бесшабашной веры в людскую добросовестность, и эта вера еще рельефнее сказывается в его постоянных выписываниях вещей, воспеваемых в газетных объявлениях... Он выписывает все, нужное и ненужное. Выписывает книги, зрительные трубки, юмористические журналы, столовые приборы, «состоящие из 100 вещей», хронометры... И немудрено, если больные, приходящие к Павлу Ивановичу, принимают его комнату за арсенал или музей... Его надували и надувают, но вера по-прежнему сильна и бесшабашна... Малый он славный, и мы еще не раз встретимся с ним на страницах этого романа...

– Как, однако, я у вас засиделся, – спохватился он, взглянув на свои дешевые, с одной крышкой, часы, выписанные им из Москвы «с ручательством на 5 лет», но, тем не менее, два раза уже бывшие в починке. – Мне пора, друже! Прощайте и смотрите вы мне! Эти графские кутежи добром не кончатся! Не говорю уж о вашем здоровье... Ах, да! Будете завтра в Теневе?

³ К праотцам (*лат.*).

⁴ Неизвестную землю, область (*лат.*).

⁵ Повод к войне (*лат.*).

– А что там завтра?

– Престольный праздник! *Все* там будут, и вы приезжайте! Обязательно приезжайте! Я дал слово, что вы непременно приедете. Не сделайте же меня лгуном...

Кому дал он слово – не нужно было спрашивать. Мы понимали друг друга. Простившись со мной, доктор надел свое поношенное пальто и уехал...

Я остался один... Чтобы заглушить неприятные мысли, начинавшие копошиться в моей голове, я подошел к своему письменному столу и, стараясь не думать, не отдавать себе отчета, занялся полученными бумагами... Конверт, первый попавшийся мне на глаза, содержал в себе следующее письмо:

«Душечка мой Сережа! Извени, что я тебя беспокою, но я так удивлена, что не знаю, к кому и обратиться... Это ни на что не похоже. Конечно, теперь не варотиш, и мне не жалко, но посуди сам, что если вора́м делать поблашку, то порядочной женщине нигде нельзя быть покойной. После того, как ты уехал, я проснулась на дивани и не нашла на себе многих вещей. Украли браслет, золотую запонку, десять жемчужин из ожерелья и вынули из партмонета рублей сто денех. Я хотела жаловаться графу, но он спал, и так и уехала. Это нехорошо. Графский дом, а воруют как в трактире. Ты скажи графу. Целую тебя и кланяюсь. Твоя любящая Тина».

Что дом его сиятельства изобиловал вора́ми – для меня не было новостью, и я приобщи́л письмо Ти́ны к сведениям, уже имевшимся у меня на этот счет в памяти. Рано или поздно – я должен был пустить в дело эти сведения... Я знал воров.

Письмо черноглазой Ти́ны, ее жирный, сочный почерк напомнили «мозаиковую» гостиную и вызвали во мне желание, похожее на желание опохмелиться, но я превозмог себя и силою своей воли заставил себя работать. Сначала мне было невыразимо скучно разбирать размашистые почерки приставов, но потом мое внимание мало-помалу фиксировалось на краже со взломом, и я стал работать с наслаждением. Целый день сидел я за своим письменным столом, а Поликарп то и дело проходил мимо меня и недоверчиво поглядывал на мою работу. В мое степенство ему не верилось, и он каждую минуту ждал, что я поднимусь из-за стола и прикажу седлать Зорьку; но к вечеру, видя мое упорство, он поверил и выражение угрюмости на лице сменил выражением удовольствия... Он стал ходить на цыпочках, говорил шепотом... Когда мимо моих окон прошли парни с гармоникой, он вышел на улицу и прокричал:

– Чего вы, черти, здесь расходились? Ходите другой улицей! Нешто не знаете, махаметы, что барин занимается!

Вечером, подав в столовой самовар, он тихо отворил мою дверь и ласково позвал меня пить чай.

– Пожалуйста чай кушать! – сказал он, нежно вздохнув и почтительно улыбаясь.

А когда я пил чай, он тихо подошел сзади ко мне и поцеловал меня в плечо...

– Вот этак лучше, Сергей Петрович, – забормотал он. – Наплюйте на того белобрысого черта, чтоб ему... Статочное ли дело при вашем высоком понятии и при вашей образованности малодушием заниматься? Ваше дело благородное... Надо, чтобы все вас ублажали, боялись, а ежели будете с тем чертом людям головы проламывать да в озере в одеже купаться, то всякий скажет: «Никакого ума! Пустяковый человек!» И пойдет тогда по миру слава! Удаль купцу к лицу, а не благородному... Благородному наука требуется, служба...

– Ну, будет, будет...

– Не путайтесь с графом, Сергей Петрович! А коли желаете дружиться, то чем не человек доктор Павел Иваныч? Только что оборванный ходит, да зато ведь ума много!

Искренность Поликарпа меня растеплила... Мне захотелось сказать ему ласковое слово...

– Ты какой роман теперь читаешь? – спросил я его.

– Графа Монте-Кристова. Вот граф! Так это настоящий граф! Непохож на вашего замазуру!

После чая я опять сел за работу и работал до тех пор, пока мои веки не стали опускаться и закрывать утомленные глаза... Ложась спать, я приказал Поликарпу разбудить меня в пять часов.

На другой день, в шестом часу утра, я, весело насвистывая и сбивая тростью головки цветов, шел пешком в Тенево, где в этот день был престольный праздник и куда приглашал меня мой друг «шур», Павел Иванович. Утро было прелестное. Само счастье, казалось, висело над землей и, отражаясь в бриллиантовых росинках, манило к себе душу прохожего... Лес, окутанный утренним светом, был тих и неподвижен, словно прислушивался к моим шагам и чириканью птичьей братии, встречавшей меня выражениями недоверия и испуга... Воздух был пропитан испарениями весенней зелени и своею нежностью ласкал мои здоровые легкие. Я дышал им и, окидывая восторженными глазами простор, чувствовал весну, молодость, и мне казалось, что молодые березки, придорожная травка и гудевшие без умолку майские жуки разделяли это мое чувство.

«И к чему там, в мире, – думал я, – теснится человек в своих тесных лачугах, в своих узких и тесных идейках, если здесь такой простор для жизни и мысли? Отчего он не идет сюда?»

И мое напoeтизированное воображение не хотело мешать себе мыслью о зиме и хлебе, этих двух печалях, загоняющих поэтов в холодный, прозаический Петербург и в нечистоплотную Москву, где платят гонорар за стихи, но не дают вдохновения.

Мимо меня проезжали крестьянские обозы и помещичьи брички, спешившие к обедне и на ярмарку. То и дело приходилось снимать шапку и отвечать на приветливые поклоны мужиков и знакомых помещиков. Всякий предлагал «подвезти», но идти было лучше, чем ехать, и я всякий раз отказывался. Мимо меня, между прочими, проехал на беговых дрожках и графский садовник Франц, в синей куртке и жокейском картузике... Он лениво поглядел на меня сонными, прокисшими глазками и еще ленивее сделал под козырек. Сзади него был привязан пятиведерный бочонок с железными обручами, очевидно, водочный... Противная рожа Франца и его бочонок расстроили несколько мое поэтическое настроение, но скоро поэзия опять восторжествовала, когда я услышал сзади себя шум экипажа и, оглянувшись, увидел тяжелый шарабан, запряженный в пару гнедых лошадок, а в тяжелом шарабане на кожаном ящикообразном сиденье – мою новую знакомку, «девушку в красном», говорившую со мной за два дня до этого про «электричество», убившее ее мать... Хорошенькое, свежеемытое и несколько заspanное личико Оленьки просияло и слегка зарумянилось, когда она увидела меня, шагавшего по краю межи, отделявшей лес от дороги. Она весело закивала мне головой и улыбнулась так приветливо, как улыбаются одни только старые знакомые.

– Доброе утро! – крикнул я ей.

Она сделала мне ручкой и вместе со своим тяжелым шарабаном исчезла с моих глаз, не дав мне наглядеться на ее хорошенькое, свежее личико. На этот раз она не была одета в красное. На ней был какой-то темно-зеленый турнюр с большими пуговицами да широкополая соломенная шляпа, но, тем не менее, она мне понравилась не меньше прежнего. Я с удовольствием поговорил бы с ней и послушал ее голос. Я хотел бы заглянуть в ее глубокие глаза при блеске солнца, как заглядывал в них тогда вечером, при сверкавшей молнии. Мне хотелось посадить ее из некрасивого шарабана и предложить ей пройти остальной путь рядом со мной, что я и сделал бы, если бы не «условия» света. Мне почему-то казалось, что она охотно согласилась бы на это предложение... Недаром она два раза оглянулась на меня, когда шарабан поворачивал за высокие ольхи!..

До Тенева от места моего жительства было шесть верст – расстояние для человека молодого в хорошее утро почти незаметное. В начале седьмого часа я уже пробирался между возами и ярмарочными балаганами к теновской церкви. Торговый шум, несмотря на раннее утро и на то, что обедня еще не кончилась, уже стоял в воздухе. Скрипенье возов, ржанье лошадей, мыча-

ные коров, игра в игрушечные трубы – все это мешалось с возгласами барышников-цыган и пением уже успевших «налимониться» мужиков. Сколько веселых, праздничных лиц, сколько типов! Сколько прелести и движения в этой массе, пестреющей яркими цветами платьев, залитой светом утреннего солнца! Все это, многотысячное, копошилось, двигалось, шумело, чтобы в несколько часов сделать свое дело и к вечеру разъехаться, оставив после себя на площади, как бы в воспоминание, сенные отбросы, кое-где рассыпанный овес и ореховую скорлупу... Народ густыми толпами валил к церкви и от церкви.

Церковный крест испускал из себя золотые лучи, такие же яркие, как и само солнце. Он сверкал и, казалось, сгорал золотым огнем. Ниже его горела тем же огнем церковная глава, и лоснился на солнце свежевыкрашенный зеленый купол, а за сверкающим крестом широко расстилалась прозрачная, далекая синева. Я, пройдя через ограду, наполненную народом, пробрался в церковь. Обедня недавно еще началась, и, когда я вошел, читали еще только Апостол. В церкви стояла тишина, нарушаемая чтением да шагами кадившего дьякона. Народ стоял тихо, неподвижно, с благоговением всматриваясь в открытые царские врата и прислушиваясь к протяжному чтению. Деревенские приличия или, вернее, деревенская порядочность строго преследует всякое поползновение к нарушению в церкви благоговейной тишины. Мне всегда становилось совестно, когда меня вынуждало что-нибудь улыбаться в церкви или разговаривать. К несчастью, в редких только случаях я не встречал в церкви своих знакомых, которых у меня, к сожалению, было очень много; обыкновенно же, чуть только, бывало, входил я в церковь, как ко мне тотчас же подходил какой-нибудь «интеллигент» и после длинных предисловий о погоде начинал разговор о своих грошовых делах. Я отвечал «да» и «нет», но был так щепетилен, что был не в силах совсем отказать своему собеседнику во внимании. И моя щепетильность не дешево мне стоила: я беседовал и конфузливо косился на молящихся соседей, боясь, что я оскорбляю их своей праздной болтовней.

И на этот раз не обошлось без знакомых. Войдя в церковь, я у самого входа увидел мою героиню, ту самую «девушку в красном», которую я встретил, пробираясь в Тенево.

Бедняжка, красная как рак и вспотевшая, стояла в толпе и обводила умоляющими глазами все лица, ища избавителя. Она застряла в тесной толпе и, не двигаясь ни назад ни вперед, походила на птичку, которую сильно стиснули в кулаке. Увидев меня, она горько улыбнулась и закивала мне своим хорошеньким подбородком.

– Проводите меня ради бога вперед! – заговорила она, хватая меня за рукав. – Здесь ужасная духота и... тесно... Прошу вас!

– Но ведь и впереди тесно! – сказал я.

– Но там всё чисто одетые, приличные... Здесь простой народ, а для нас отведено место впереди... И вы там должны быть...

Стало быть, красна она была не потому, что в церкви душно и тесно. Ее маленькую головку мучил вопрос местничества! Я внял мольбам суетной девочки и, осторожно расталкивая народ, провел ее до самого амвона, где был уже в сборе весь цвет нашего уездного бомонда. Поставив Оленьку на подобающее ее аристократическим поползновениям место, я стал позади бомонда и занялся наблюдениями.

Мужчины и дамы, по обыкновению, шептались и хихикали. Мировой судья Калинин, жестикулируя пальцами и помахивая головой, вполголоса рассказывал помещику Деряеву о своих болезнях. Деряев почти вслух бранил докторов и советовал мировому полечиться у какого-то Евстрата Иваныча. Дамы, увидев Оленьку, ухватились за нее, как за хорошую тему, и зашушукали. Одна только девушка, по-видимому, молилась... Она стояла на коленях и, устремив свои черные глаза вперед, шевелила губами. Она не заметила, как из-под ее шляпки выпал локон и беспорядочно повис на бледном виске... Она не заметила, как около нее остановился я с Оленькой.

Это была дочь мирового Калинина, Надежда Николаевна. Когда я ранее говорил о женщине, черной кошкой пробежавшей между мною и доктором, то говорил о ней... Доктор любил ее так, как способны любить только такие хорошие натуры, как мой милый «щур» Павел Иванович... Теперь он, как шест, стоял около нее, держа руки по швам и вытянув шею... Изредка он вскидывал свои любящие вопрошающие глаза на ее сосредоточенное лицо... Он словно сторожил ее молитву, и в его глазах светилось страстное, тоскующее желание быть предметом ее молитвы. Но, к его несчастью, он знал, за кого она молилась... Не за него...

Я кивнул Павлу Ивановичу, когда тот оглянулся на меня, и мы оба вышли из церкви.

– Давайте шляться по ярмарке, – предложил я.

Мы закурили папиросы и пошли по лавкам.

– Как поживает Надежда Николаевна? – спросил я доктора, входя с ним в палатку, в которой продавались игрушки...

– Ничего себе... Кажется, здорова... – отвечал доктор, щурясь на маленького солдатика с лиловым лицом и в пунцовом мундире. – О вас спрашивала...

– Что же она обо мне спрашивала?

– Так, вообще... Сердится, что вы давно у них не бывали... Ей хочется повидаться с вами и спросить вас о причинах такого внезапного охлаждения к их дому... Ездили почти каждый день и потом – нѣ тебе! Словно отрезал... И не кланяется даже.

– Врете, щур... Действительно, я за неимением досуга перестал посещать Калининых... Что правда, то правда. Отношения же мои с этой семьей по-прежнему отменные... Всегда кланяюсь, если встречаю кого-нибудь из них.

– Однако, встретившись в прошлый четверг с ее отцом, вы почему-то не нашли нужным ответить на его поклон.

– Я не люблю этого болвана мирового, – сказал я, – и не могу равнодушно глядеть на его рожу, но все-таки у меня еще хватает силы кланяться ему и пожимать протягиваемую им руку. Вероятно, я не заметил его в четверг или не узнал. Вы сегодня не в духе, щуренька, и придираетесь...

– Люблю я вас, голубчик, – вздохнул Павел Иванович, – но не верю вам... «Не заметил, не узнал...» Не нужно мне ни ваших оправданий, ни отговорок... К чему они, если в них так мало правды? Вы славный, хороший человек, но в вашем больном мозгу есть, торчит гвоздем маленький кусочек, который, простите, способен на всякую пакость...

– Покорнейше благодарим.

– Вы не сердитесь, голубчик... Дай бог, чтоб я заблуждался, но мне кажется, что вы немножко психопат. У вас иногда, вопреки воле и направлению вашей хорошей натуры, вырываются такие желания и поступки, что все знающие вас за порядочного человека становятся в тупик... Диву даешься, как это ваши высоконравственные принципы, которые я имею честь знать, могут уживаться с теми вашими внезапными побуждениями, которые в исходе дают кричащую мерзость! Какой это зверь? – обратился вдруг Павел Иванович к торговцу, переменяя тон и поднося к глазам деревянного зверя с человеческим носом, гривой и серыми полосами на спине.

– Лев, – зевнул продавец. – А може, и другая какая тварь. Шут их разберет!

От игрушечных балаганов мы направились к «красным» лавкам, где уже кипела торговля.

– Эти игрушки только обманывают детей, – сказал доктор. – Они дают самые превратные понятия о флоре и фауне. Этот лев, например... Полосат, багров и пищит... Нешто львы пищат?

– Послушайте, щуренька, – сказал я. – По-видимому, вам хочется мне что-то сказать, и вы словно не решаетесь... Говорите... Мне приятно вас слушать даже тогда, когда вы говорите неприятные вещи...

– Приятно, друже, или неприятно, а уж вы послушайте... Мне о многом хотелось бы с вами поговорить...

– Начинайте... Я обращаюсь в одно очень большое ухо.

– Я уже высказал вам свое предположение относительно того, что вы психопат. Теперь не угодно ли выслушать доказательство?.. Я буду говорить откровенно, быть может, иногда несколько резко... вас покоробит от моих слов, но вы не сердитесь, друже... Вы знаете мои к вам чувства: люблю вас больше всех в уезде и уважаю... Говорю вам не ради упрека и осуждений, не для того, чтоб колоть вас. Будем оба объективны, друже... Станем рассматривать вашу психику беспристрастным оком, как печенку или желудок...

– Хорошо, будем объективны, – согласился я.

– Превосходно... Начнем хоть с ваших отношений с Калининым... Если вы справитесь у вашей памяти, то она скажет вам, что вы начали посещать Калининых тотчас же по приезде в наш богоспасаемый уезд. Вашего знакомства не искали... Вы с первого же раза не понравились мировому своим надменным видом, насмешливым тоном и дружбой с кутилой графом, и вам не бывать бы у мирового, если бы вы сами не сделали ему визита. Помните? Вы познакомились с Надеждой Николаевной и стали ездить к мировому чуть ли не каждый день... Бывало, когда ни придешь, вы вечно там... Прием оказывался вам самый радушный. Люди ласкали вас, как только умели... И отец, и мать, и маленькие сестры... Привязались к вам, как к родному... Вами восторгаются, вас носят на руках, хохочут от малейшей вашей остроты... Вы для них образец ума, благородства, джентльменства. Вы словно понимаете все это и за привязанность платите привязанностью – ездите каждый день, даже в дни подпраздничных приборов и суматох. Наконец, для вас не секрет та несчастная любовь, которую вы возбудили к себе в Наденьке... Ведь не секрет? Вы, знающий, что она в вас по уши влюблена, все ездите и ездите... И что же, друже? Год тому назад вы вдруг, ни с того ни с сего, внезапно прекращаете свои визиты. Вас ждут неделю... месяц... ждут до сегодня, а вы все не показываетесь... Вам пишут, вы не отвечаете... Наконец, вы даже не кланяетесь... Вам, придающему большое значение приличиям, эти ваши поступки должны показаться верхом невежливости! Отчего вы так резко и круто отчалили от Калининых? Вас обидели? Нет... Вам надоело? В таком случае вы могли бы отчалить постепенно, без этой обидной, ничем не мотивированной резкости...

– Перестал в гости ездить, – усмехнулся я, – и попал в психопаты. Как вы наивны, щуренька! Не все ли равно – сразу ли прекратить знакомство или постепенно? Сразу даже честнее – лицемерия меньше. Какие все это пустяки, однако!

– Допустим, что все это пустяки или что вас заставили так круто повернуть причины скрытые, до которых нет дела постороннему оку. Но чем объяснить ваши дальнейшие поступки?

– Например?

– Например, вы являетесь однажды в нашу земскую управу, – не знаю, какое было у вас там дело, – и на вопрос председателя, отчего вас не стало видно у Калининых, вы сказали... Припомните-ка, что вы сказали! «Боюсь, что меня женят!» Вот что сорвалось с вашего языка! И это вы сказали во время заседания, громко, отчетливо, – так, что могли вас слышать все сто человек, бывшие в зале заседания! Красиво? В ответ на ваши слова слышались смех и скабрёзные остроты на тему о ловле женихов. Вашу фразу подхватывает какой-то мерзавец, идет к Калининым и подносит ее Наденьке во время обеда... За что такая обида, Сергей Петрович?

Павел Иванович загородил мне дорогу, стал передо мной и продолжал, глядя мне в лицо умоляющими, почти плачущими глазами:

– За что такая обида? За что? За то, что эта хорошая девушка вас любит? Допустим, что отец, как и всякий отец, имел поползновения на вашу особу... Он, по-отечески, всех имеет в виду: и вас, и меня, и Маркузина... Все родители одинаковы... Нет сомнения, что и она, по уши влюбленная, быть может, надеялась стать вашей женой... Так за это давать такую звонкую

пощечину? Дяденька, дяденька! Не вы ли сами добивались этих поползновений на вашу особу? Вы каждый день ездили, обыкновенные гости так часто не ездят. Днем вы удили с нею рыбу, вечерами гуляли в саду, ревниво оберегая ваше tête-à-tête... Вы узнали, что она любит вас и ни на йоту не изменили вашего поведения... Можно было после этого не подозревать в вас добрых намерений? Я был уверен, что вы на ней женитесь! И вы... вы пожаловались, посмеялись! За что? Что она вам сделала?

– Не кричите, щуренька, народ смотрит, – сказал я, обходя Павла Ивановича. – Прекратим этот разговор. Это бабий разговор... Скажу вам только три строчки, и будет с вас. Ездил я к Калинин, потому что скучал и интересовался Наденькой... Она очень интересная девица... Может быть, я и женился бы на ней, но, узнав, что вы ранее меня попали в претенденты ее сердца, узнав, что вы к ней равнодушны, я порешил стушеваться...

Жестоко было бы с моей стороны мешать такому хорошему малому, как вы...

– Мерсі за одолжение! Я вас не просил об этой милостивой подачке, и, насколько могу судить теперь по выражению вашего лица, вы говорите сейчас неправду, говорите зря, не вдумываясь в ваши слова... И потом то обстоятельство, что я славный малый, не помешало вам, однако, в одно из последних ваших посещений сделать Наденьке в беседке предложение, от которого не поздоровилось бы славному малому, если бы он на ней женился!

– Эге-ге!.. Откуда вам известно об этом предложении, щуренька? Стало быть, ваши дела недурно идут, если вам стали уже поверять такие тайны!.. Но, однако, вы побледнели от злости и чуть ли не собираетесь бить меня... А еще тоже уговаривался быть объективным! Какой вы смешной, щуренька! Ну, бросим эту галиматью... Пойдем на почту...

Мы направились к почтовому отделению, которое весело глядело своими тремя окошечками на базарную площадь. Сквозь серый палисадник пестрел цветник нашего приемщика Максима Федоровича, известного в нашем уезде знатока по части устройства клумб, гряд, газонов и проч.

Максима Федоровича мы застали за очень приятным занятием... Красный от удовольствия и улыбающийся, он сидел за своим зеленым столом и, как книгу, перелистывал толстую пачку сторублевых бумажек. По-видимому, на расположение его духа мог влиять вид даже чужих денег.

– Здравствуйте, Максим Федорыч! – поздоровался я с ним. – Откуда это у вас такая куча денег?

– А вот-с, в Санкт-Петербург отправляют! – сладенько улыбнулся приемщик и указал подбородком в угол, где на единственном имевшемся в почтовом отделении стуле сидела темная человеческая фигура...

Увидев меня, эта фигура поднялась и подошла ко мне. В ней я узнал моего нового знакомого, моего новоиспеченного врага, которого я так обидел, когда напился у графа...

– Мое почтение, – сказал он.

– Здравствуйте, Каэтан Казимирович, – ответил я, делая вид, что не вижу протянутой им руки. – Граф здоров?

– Слава богу... Скучает только немножко... Вас ждет к себе каждую минуту...

На лице Пшехоцкого я прочел желание побеседовать со мною. Откуда могло явиться такое желание после той «свиньи», которой я угостил его в тот вечер, и откуда такая перемена в обращении?

– Как много у вас денег! – сказал я, глядя на посылаемые им пачки сторублевых.

И словно кто толкнул меня по мозгам! У одной из сторублевых я увидел обожженные края и совершенно сгоревший угол... Это была та самая сторублевка, которую я хотел сжечь на огне Шандора, когда граф отказался взять ее у меня на уплату цыганам, и которую поднял Пшехоцкий, когда я бросил ее на землю.

– Лучше я бедному отдам кому-нибудь, – сказал он тогда, – чем отдавать их огню.

Каким же «бедным» посылал он ее теперь?

– Семь тысяч пятьсот рублей, – протяжно сосчитал Максим Федорыч. – Совершенно верно!

Неловко вторгаться в чужие тайны, но ужасно мне хотелось узнать, кому и чьи это деньги посылал в Петербург чернобровый поляк? Деньги эти во всяком случае были не его, графу же некому было посылать их.

«Обобрал пьяного графа, – подумал я. – Если графа умеет обирать глухая и глупая Сычиха, то что стоит этому гусю запустить в его карман свою лапу?»

– Ах... кстати, и я пошлю деньги, – спохватился Павел Иванович. – Знаете, господа? Даже невероятно! За пятнадцать рублей пять вещей с пересылкой! Зрительная труба, хронометр, календарь и еще что-то... Максим Федорыч, одолжите мне листик бумажки и конверт!

Щур послал свои пятнадцать рублей, я получил газеты и письма, и мы вышли из почтовой конторы...

Мы направились к церкви. Щуренька шагал за мной, бледный и унылый, как осенний день. Сверх ожидания, его сильно встревожил разговор, в котором он старался показать себя «объективным».

В церкви трезвонили. С паперти медленно спускалась густая толпа, которой, казалось, и конца не было. Из толпы высились ветхие хоругви и темный крест, предшествовавшие крестному ходу. Солнце весело играло на ризах духовенства, а образ Божьей Матери испускал от себя ослепительные лучи...

– А вон и наши! – сказал доктор, указывая на наш уездный бомонд, отделившийся от толпы и стоявший в стороне.

– Ваши, а не наши, – сказал я.

– Это все равно... Подойдемте к ним...

Я подошел к знакомым и стал раскланиваться. Мировой судья Калинин, высокий плечистый человек с седой бородой и выпуклыми рачьими глазами, стоял впереди всех и что-то шептал на ухо своей дочери. Делая вид, что он меня не замечает, он ни одним движением не ответил на мой «общий» поклон, направленный в его сторону.

– Прощай же, ангелочек, – проговорил он плачущим голосом, целуя дочь в ее бледный лоб. – Поезжай домой одна, а к вечеру я возвращусь... Визиты мои будут продолжаться очень недолго.

Поцеловав дочь еще раз и сладенько улыбнувшись бомонду, он строго нахмурил брови и круто повернулся на одном каблуке к стоявшему позади него мужику с бляхой сотского.

– Скоро же, наконец, подадут мне лошадей? – прохрипел он.

Сотский вздрогнул и замахал руками.

– Берегись!

Толпа, шедшая за крестным ходом, раздвинулась, и лошади мирового с шиком и звоном бубенчиков подкатили к Калинин. Тот сел, величественно поклонился и, тревожа толпу своим «берегись», скрылся из глаз, не подарив меня ни одним взглядом.

– Эдакая величественная свинья, – прошептал я на ухо доктору. – Пойдемте отсюда!

– А разве вы не хотите поговорить с Надеждой Николаевной? – спросил Павел Иванович.

– Мне уж пора домой. Некогда.

Доктор сердито поглядел на меня, вздохнул и отошел. Я отдал общий поклон и направился к балаганам. Пробираясь сквозь густую толпу, я оглянулся и поглядел на дочь мирового. Она глядела мне вслед и словно пробовала, вынесу я или нет ее чистый, пронизывающий взгляд, полный горькой обиды и упрёка.

– За что?! – говорили ее глаза.

Что-то закопошилось в моей груди, и мне стало больно и стыдно за свое глупое поведение. Мне захотелось вдруг воротиться и всеми силами своей мягкой, не совсем еще испорчен-

ной души приласкать и приголубить эту горячо меня любившую, мною обиженную девушку и сказать ей, что виноват не я, а моя проклятая гордость, не дающая мне жить, дышать, ступить шаг. Гордость, глупая, фатовская, полная суетности. Мог ли я, пустой человек, протянуть руку примирения, если я знал и видел, что за каждым моим движением следили глаза уездных кумушек и «старух зловещих»? Пусть лучше они осыплют ее насмешливыми взглядами и улыбками, чем разуверятся в «непреклонности» моего характера и гордости, которые так нравятся во мне глупым женщинам.

Говоря ранее с Павлом Ивановичем о причинах, заставивших меня внезапно прекратить свои поездки к Калининым, я был неоткровенен и совсем неточен... Я скрыл настоящую причину, скрыл ее потому, что стыдился ее ничтожности... Причина была мелка, как порох... Заключалась она в следующем. Когда я в последнюю мою поездку, отдав кучеру Зорьку, входил в калининский дом, до моих ушей донеслась фраза:

– Наденька, где ты? Твой жених приехал!

Это говорил ее отец, мировой, не рассчитывая, вероятно, что я могу услышать его. Но я услышал, и самолюбие мое заговорило.

«Я жених? – подумал я. – Кто же тебе позволил называть меня женихом? На каком основании?»

И словно что оторвалось в моей груди... Гордость забушевала во мне, и я забыл все, что помнил, едучи к Калининым... Я забыл, что я увлек девушку и сам начал уже увлекаться ею до того, что ни одного вечера не был в состоянии провести без ее общества... Я забыл ее хорошие глаза, которые день и ночь не выходили из моей памяти, ее добрую улыбку, мелодичный голос... Забыл тихие, летние вечера, которые уже никогда не повторятся ни для меня, ни для нее... Все рухнулось под напором дьявольской гордыни, взбудораженной глупой фразой простака отца... Взбешенный, я воротился из дому, сел на Зорьку и ускакал, давая себе клятву «утереть нос» Калинину, осмелившемуся без моего позволения записать меня в женихи своей дочери...

«Кстати же, Вознесенский любит ее... – оправдывал я свой внезапный отъезд, едучи домой. – Он ранее меня начал вертеться около нее и уже считался женихом, когда я с нею познакомился. Не стану ему мешать!»

И с тех пор я ни разу не был у Калининых, хотя и бывали минуты, когда я страдал от тоски о Наде и рвалась душа моя, рвалась к возобновлению прошлого... Но весь уезд знал о происшедшем разрыве, знал, что я «удрал от женитьбы...» Не могла же моя гордость сделать уступки!

Кто знает? Не скажи Калинин той фразы и не будь я так глупо горд и щепетилен, быть может, мне не понадобилось бы оглядываться, а ей – глядеть на меня такими глазами... Но пусть лучше такие глаза, пусть лучше это чувство обиды и упрек, чем то, что я увидел в этих глазах несколько месяцев спустя после встречи у тeneвской церкви! Горе, светившееся теперь в глубине этих черных глаз, было только началом того страшного несчастья, которое, как внезапно налетевший поезд, стерло с лица земли эту девушку... Что цветки перед теми ягодками, которые уже созревали для того, чтобы влить страшную отраву в ее хрупкое тело и тоскующую душу!

Выйдя из Тенева, я пошел той же дорогой, что шел и утром. Солнце показывало уже полдень... Крестьянские телеги и помещичьи брички, как и утром, услаждали мой слух своим скрипом и металлическим ворчаньем бубенчиков. Опять проехал садовник Франц с водочным бочонком, на этот раз, вероятно, полным... Опять он взглянул на меня своими кислыми глазками и сделал мне под козырек. Меня покорило от его противной физиономии, но и на этот раз тяжелое впечатление, произведенное встречей с ним, как рукой сняла дочка лесничего Оленька, догнавшая меня на своем тяжелом шарабане...

– Подвезите меня! – крикнул я ей.

Она весело закивала мне головой и остановила возницу. Я сел рядом с ней, и шарабан с треском покати́л по дороге, светлой полосой тянувшейся через трехверстную просеку теневого леса. Минуты две мы молча разглядывали друг друга.

«Какая она, в самом деле, хорошенькая!» – думал я, глядя на ее шейку и пухленький подбородок. – Если бы мне предложили выбирать кого-нибудь из двух – Наденьку или ее, то я остановился бы на этой... Эта естественнее, свежей, натура у нее шире и размашистей... Попадись она в хорошие руки – из нее многое можно было бы сделать! А та угрюма, мечтательна... умна».

У ног Оленьки лежали две штуки полотна и несколько свертков.

– Сколько у вас покупок! – сказал я. – На что вам столько полотна?

– Мне еще не столько нужно!.. – ответила Оленька. – Это я так купила, между прочим... Вы не можете себе представить, сколько хлопот! Сегодня вот по ярмарке целый час ходила, а завтра придется в город ехать за покупками... А потом извольте шить... Послушайте, у вас нет таких знакомых женщин, которых можно было бы нанять шить?

– Кажется, нет... Но для чего вам столько покупок? К чему шить? Ведь у вас семья не бог весть как велика... Раз, два... да и обчелся...

– Какие вы, все мужчины, странные! И ничего вы не понимаете! Вот, когда женитесь, так сами же будете сердиться, если жена ваша после венца придет к вам растрепкой. Я знаю, Петр Егорыч не нуждается, но все-таки неловко как-то с первого же раза себя не хозяйкой показать...

– При чем же тут Петр Егорыч?

– Гм... Смеется, точно и не знает! – сказала Оленька, слегка краснея.

– Вы, барышня, говорите загадками...

– Да разве вы не слышали? Ведь я выхожу замуж за Петра Егорыча!

– Замуж? – удивился я, делая большие глаза. – За какого Петра Егорыча?

– Фу, боже мой! Да за Урбенина!

Я поглядел на ее краснеющее и улыбающееся лицо...

– Вы... замуж? За Урбенина? Этакая ведь шутница!

– Никаких тут шуток нет... Не понимаю даже, что тут шуточного...

– Вы замуж... за Урбенина... – проговорил я, бледнея, сам не зная отчего. – Если это не шутка, то что же это такое?

– Какие шуточки!.. Не знаю даже, что тут такого удивительного, странного... – проговорила Оленька, надувая губки.

Минута прошла в молчании... Я глядел на красивую девушку, на ее молодое, почти детское лицо и удивлялся, как это она может так страшно шутить? Сразу я представил себе рядом с нею пожилого, толстого, краснолицего Урбенина с оттопыренными ушами и жесткими руками, прикосновение которых может только царапать молодое, только что еще начавшее жить женское тело... Неужели мысль о подобной картине не может пугать хорошенькую лесную фею, умеющую поэтически глядеть на небо, когда на нем бегают молнии и сердито ворчит гром? Я – и то испугался!

– Правда, он несколько стар, – вздохнула Оленька, – но зато ведь он меня любит... Его любовь надежная.

– Дело не в надежной любви, а в счастье...

– С ним я буду счастлива... Состояние у него – слава богу, и не голяк он какой-нибудь, не нищий, а дворянин. Я в него, конечно, не влюблена, но разве только те и счастливы, которые по любви женятся? Знаю я эти браки по любви!

– Дитя мое, – спросил я, с ужасом глядя в ее светлые глаза, – когда вы успели нафаршировать вашу бедную головку этой ужасной житейской мудростью? Допустим, что вы шутите со мной, но где вы научились так старчески грубо шутить?.. Где? Когда?

Оленька поглядела на меня с удивлением и пожала плечами...

– Я не понимаю, что вы говорите... – сказала она. – Вам неприятно, что молодая девушка выходит за старика? Да?

Оленька вдруг вспыхнула, задвигала нервно подбородком и, не дожидаясь моего ответа, проговорила быстро:

– Вам это не нравится? Так извольте вы сами идти в лес... в эту скуку, где нет никого, кроме кобчиков да сумасшедшего отца... и ждите там, пока придет молодой жених! Вам понравилось тогда вечером, а поглядели бы вы зимой, когда рада бываешь... что вот-вот смерть придет...

– Ах, все это нелепо, Оленька, все это незрело, глупо! Если вы не шутите, то... я уж не знаю, что и говорить! Замолчите лучше и не оскорбляйте воздуха вашим язычком! Я, на вашем бы месте, на семи осинах удавился, а вы полотно покупаете... улыбаетесь! Ах-ах!

– По крайней мере, он на свои средства отца лечить будет... – прошептала она...

– Сколько вам нужно на лечение отца? – закричал я. – Возьмите у меня! Сто?... двести?... тысячу? Лжете вы, Оленька! Вам не лечение отца нужно!

Новость, сообщенная мне Оленькой, так меня взволновала, что я и не заметил, как шарабан наш проехал мимо моей деревеньки, как он въехал на графский двор и остановился у крыльца управляющего... Увидев выбежавших детишек и улыбающееся лицо Урбенина, подскочившего высаживать Оленьку, я выпрыгнул из шарабана и, не простившись, побежал к графскому дому. Здесь ждала меня новая новость.

– Как кстати! Как кстати! – встретил меня граф, царапая мою щеку своими длинными, колючими усами. – Удач тебе времени ты и выбрать не мог! Мы только сию минуту сели завтракать... Ты, конечно, знаком вот... Не раз уж, небось, имел столкновение по вашей судейской части... Ха-ха!

Граф обеими руками указал мне на двух мужчин, сидевших на мягких креслах и евших холодный язык. В одном я имел неудовольствие узнать мирового судью Калинина, другой же, маленький седенький старичок с большой лунообразной лысиной, был мой хороший знакомый, Бабаев, богатый помещик, занимавший в нашем уезде должность неперменного члена. Раскланиваясь, я с удивлением поглядел на Калинина... Я знал, как ненавидел он графа и какие слухи пускал он по уезду про того, у которого теперь ел с таким аппетитом язык с горошком и пил десятилетнюю наливку. Как мог порядочный человек объяснить этот его визит? Мировой уловил мой взгляд и, вероятно, понял его.

– Сегодняшний день посвятил я визитам, – сказал он мне. – Весь уезд объезжаю... И к его сиятельству заехал, как видите...

Илья подал четвертый прибор. Я сел, выпил рюмку водки и стал завтракать...

– Нехорошо, ваше сиятельство... Нехорошо! – продолжал Калинин разговор, прерванный моим приходом. – Нам, маленьким людям, не грех, а вы человек знатный, богатый, блестящий... Вам грех манкировать.

– Это верно, что грех... – согласился Бабаев.

– В чем дело? – спросил я.

– Хорошую мысль подал мне Николай Игнатьич! – кивнул граф на мирового. – Приходит он ко мне... садится завтракать, и жалуюсь я ему на скуку...

– И жалуются они мне на скуку... – перебил графа Калинин. – Скучно, грустно... то да се... Одним словом, разочарован... Онегин некоторым образом... Сами, говорю, виноваты, ваше сиятельство... Как так? Очень просто... Вы, говорю, чтобы скучно не было, служите... хозяйством занимаетесь... Хозяйство превосходное, дивное... Говорят, что они намерены заняться хозяйством, но все-таки скучно... Нет у них, так сказать, увеселяющего, возбуждающего элемента. Нет этого... как бы так выразиться... ээ... того... сильных ощущений...

– Ну, так какую же мысль вы подали?

– Собственно говоря, я не подавал никакой мысли, но только осмелился сделать его сиятельству упрек. Как это, говорю, вы, ваше сиятельство, такой молодой... образованный, блестящий, можете жить в такой замкнутости? Разве, говорю, это не грех? Вы никуда не выезжаете, сами никого не принимаете, нигде вас не видно... как старик какой-нибудь или отшельник... Что стоит, говорю, вам устраивать у себя собрания... журфиксы, так сказать?

– Для чего же ему сдались эти журфиксы? – спросил я.

– Как для чего? Во-первых, тогда его сиятельство, ежели у него будут вечера, познакомится с обществом... изучит, так сказать... Во-вторых, и общество будет иметь честь поближе познакомиться с одним из наиболее наших землевладельцев... Взаимный, так сказать, обмен мыслей, разговоры, веселье... А сколько у нас, ежели рассуждать, образованных барышень, кавалеров!.. Какие можно задавать музыкальные вечера, танцы, пикники – посудите только! Залы огромные, в саду беседки и... прочее... Такие любительские спектакли и концерты можно задавать, что никому в губернии не снилось... Да ей-богу! Посудите сами!.. Теперь все это почти пропадает даром, в землю закопано, а тогда... понять только нужно! Имей я такие средства, как у его сиятельства, я показал бы, как надо жить! А они говорят: скучно! Даже, ей-богу... слушать смешно... совестно даже...

И Калинин заморгал глазами, желая показать вид, что ему действительно совестно...

– Это вполне справедливо, – сказал граф, вставая и засовывая руки в карманы. – У меня могут выходить отличные вечера... Концерты, любительские спектакли... все это действительно можно прелестно устроить. И к тому же эти вечера будут не только веселить общество, но они будут иметь и воспитывающее влияние!.. Не правда ли?

– Ну да, – согласился я. – Как посмотрят наши барышни на твою усатую физиономию, так сразу и проникнутся духом цивилизации...

– Ты все шутишь, Сережа, – обиделся граф, – а никогда ты мне дружески не посоветуешь! Все тебе смешно! Пора, мой друг, оставить эти студенческие замашки!

Граф зашагал из угла в угол и в длинных, скучных предположениях начал описывать мне пользу, какую могут принести человечеству его вечера. Музыка, литература, сцена, верховая езда, охота. Одна охота может сплотить воедино все лучшие силы уезда!..

– Мы с вами поговорим еще об этом! – сказал граф Калинину, прощаясь с ним после завтрака.

– Так позвольте, стало быть, уезду надеяться, ваше сиятельство? – спросил мировой.

– Конечно, конечно... Я разовью эту мысль, постараюсь... Я рад... даже очень... Так всем и скажите...

Нужно было видеть то блаженство, которое было написано на лице мирового, когда он садился в свой экипаж и говорил: «Пошел!» Он так обрадовался, что забыл даже наши с ним контры и на прощанье назвал меня голубчиком и крепко пожал мне руку.

По отъезде визитеров я и граф сели за стол и продолжали завтракать. Завтракали мы до семи часов вечера, когда с нашего стола сняли посуду и подали нам обед. Молодые пьяницы знают, как коротать длинные антракты. Мы все время пили и ели по маленькому кусочку, чем поддерживали аппетит, который пропал бы у нас, если бы мы совсем бросили есть.

– Ты посылал сегодня кому-нибудь деньги? – спросил я графа, вспомнив те пачки сто-рублевки, которые видел утром в тневском почтовом отделении.

– Никому.

– Скажи, пожалуйста, а твой этот... как его?... новый друг, Казимир Каэтаныч или Каэтан Казимирович, богатый человек?

– Нет, Сережа. Это бедняк!.. Но зато какая душа, какое сердце! Ты напрасно так презрительно говоришь о нем и... нападаешь на него... Надо, брат, научиться различать людей. Выпьем еще по рюмке?

К обеду воротился Пшехоцкий. Увидев меня, сидящего за столом и пьющего, он поморщился и, повертываясь около нашего стола, нашел лучшим удалиться в свою комнату. От обеда он отказался, ссылаясь на головную боль, но не выразил ничего против, когда граф посоветовал ему пообедать в своей комнате, в постели.

Во время второго блюда вошел Урбенин. Я не узнал его. Его широкое, красное лицо сияло удовольствием. Довольная улыбка, казалось, играла даже на оттопыренных ушах и толстых пальцах, которыми он то и дело поправлял свой новый, франтоватый галстук.

– Корова у нас заболела, ваше сиятельство, – доложил он. – Посылал я за нашим ветеринаром, а оказывается, что он уехал. Не послать ли, ваше сиятельство, за городским ветеринаром? Если я пошлю, то он не послушается, не поедет, а если вы ему напишете, то тогда другое дело. Может быть, у коровы пустяк, а может, и что другое.

– Хорошо, я напишу... – пробормотал граф.

– Поздравляю вас, Петр Егорыч, – (сказал я,) вставая и протягивая управляющему руку.

– С чем-с? – прошептал он.

– Ведь вы женитесь!

– Да, да, представь себе, женится! – заговорил граф, мигая глазом на краснеющего Урбенина. – Каков? Ха-ха-ха! Молчал-молчал, да вдруг – на тебе! И знаешь, на ком он женится? Мы тогда вечером с тобой угадали! Мы, Петр Егорыч, тогда же еще порешили, что в вашем шалунишке-сердце творится что-то такое неладное. Как поглядел он на вас и Оленьку, «ну, говорит, втюрился малый!» Ха-ха! Садитесь с нами обедать, Петр Егорыч!

Урбенин осторожно и почтительно сел, позвал глазами Илью и приказал ему подать себе супу. Я налил ему рюмку водки.

– Я не пью-с, – сказал он.

– Полноте, вы еще больше нашего пьете.

– Пил-с, а теперь уж не пью, – улыбнулся управляющий. – Теперь мне нельзя пить... Незачем... Все, слава богу, прошло благополучно, все устроилось, и так именно, как хотело мое сердце, даже больше, чем мог я ожидать.

– Ну, на радостях хоть этого выпейте, – сказал я, наливая ему хересу.

– Этого, пожалуй. А пил я действительно много. Теперь могу покаяться перед его сиятельством. От утра до ночи, бывало. Как встанешь утром, вспомнишь это самое... ну и, естественно, к шкафчику сейчас же. Теперь, слава богу, нечего водкой заглушать.

Урбенин выпил стакан хересу. Я налил ему другой. Он выпил и этот и незаметно опьянел...

– Даже не верится... – сказал он, засмеявшись вдруг счастливым детским смехом. – Гляжу вот на это кольцо, припоминаю ее слова, которыми она выразила свое согласие, и не верю... Смешно даже... Ну, мог ли я в свои годы, при своей такой наружности, надеяться, что эта достойная девушка не побрезгует стать моей... матерью моих сироток? Ведь она красавица, как изволили вы видеть, ангел во плоти! Чудеса да и только! Вы еще мне налили?... Пожалуй, в последний раз уж... С горя пил, выпью и на радостях. А как я мучился, господа, сколько горя вынес! Увидел ее год тому назад и – верите ли? – с той поры не было ни одной ночи, чтоб я спал спокойно, не было дня, чтоб я не заливал водкой этой... слабости глупой, не бранил себя за глупость... Бывало, гляжу на нее в окно, люблюсь и... волосы рву у себя на голове... В пору бы вешаться... Но, слава богу... рискнул, сделал предложение, и точно, знаете ли, меня обухом! Ха-ха! Слышу и ушам не верю... Она говорит: «Согласна», а мне кажется: «Убирайся ты, старый хрен, к черту»... После, когда уж она меня поцеловала, убедился...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.